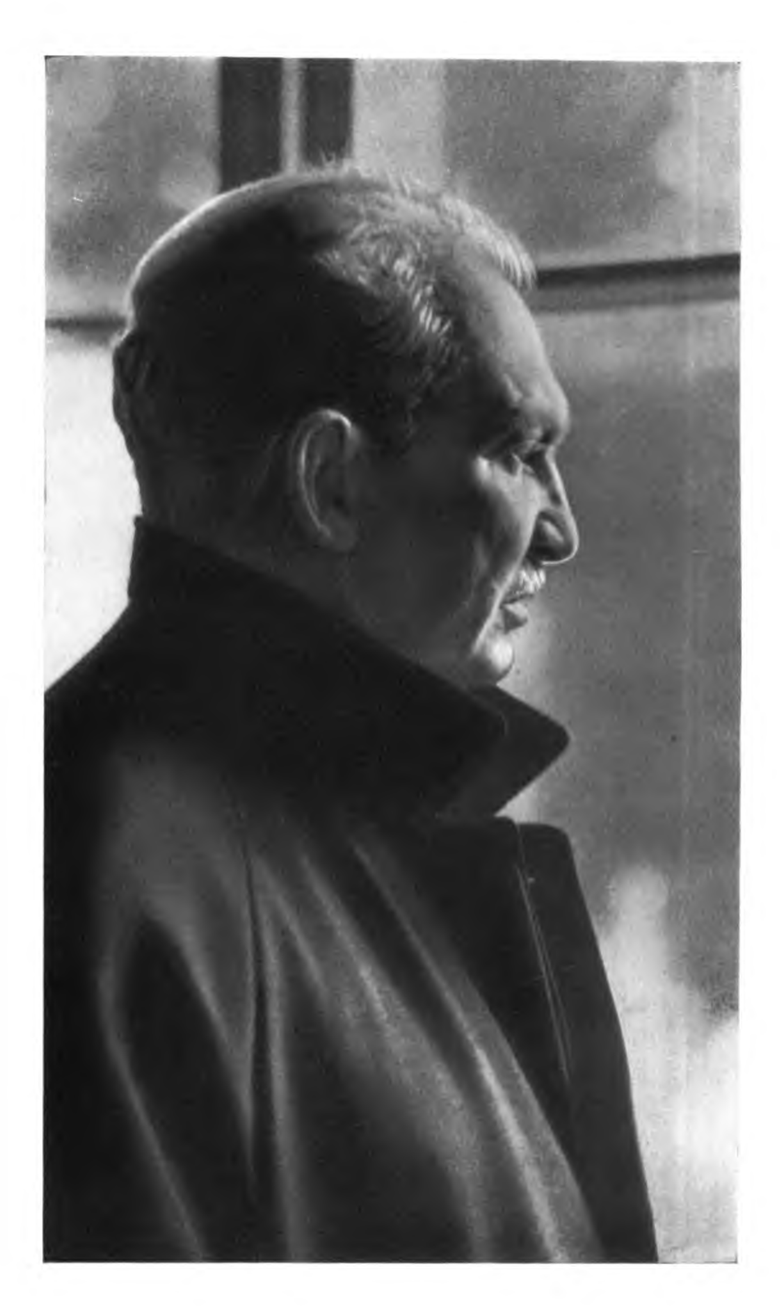
БОРИС

СЛУЦКИЙ

ИЗБРАННОЕ





ИЗБРАННОЕ

1944 · 1977



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
1980

Р2
С49

Предисловие
Константина Симонова

Оформление художника
Ю. Боярского

С $\frac{70402-154}{028(01)-80}$ 83-80 4702010200

ДОМ ПОЭТА

Это «Избранное» выходит в связи с 60-летием поэта, исполнившимся в мае 1979 года. Сюда включены стихи из двенадцати появившихся ранее поэтических книг Бориса Слуцкого. Первая из них — «Память» — издана в 1957 году, когда автор ее был уже зрелым 38-летним, много пережившим и повидавшим человеком.

Он уже был им и когда напечатал в 1953 году стихотворение «Памятник», которое впервые обратило на него внимание читателей и критики и которое он сам справедливо рассматривает как подлинное начало своей творческой биографии.

Я начал разговор с возраста поэта и с дат появления его первых стихов и книг, потому что это важно для понимания поэзии Бориса Слуцкого и места, почти сразу занятого ею в умах и сердцах читателей.

Свой первый сборник «Память» через двенадцать лет после Великой Отечественной войны опубликовал бывший гвардии майор, четырежды награжденный боевыми орденами, от начала до конца прошедший всю дорогу войны, тяжело раненный и уволенный из армии со второй группой инвалидности.

В книге «Память» я, так же как и другие ее читатели-фронтовики, встретился с человеком, который знал о войне зачастую больше нас, много и глубоко думал о ней и видел ее по-своему, зорко и пронзительно. Поколение ровесников Слуцкого, перед самой войной и в войну только входивших в литературу: Гудзенко, Коган, Кульчицкий, Луконин, Майоров, Межиров, Наровчатов, Самойлов — к их именам можно добавить и другие, и живых и павших,— внесло в советскую поэзию совсем особую атмосферу — сперва предгрозья, а потом и разразившейся грозы. И без этой новой и сильной струи вся наша поэзия, вероятно, не смогла бы дышать дальше полной грудью.

Какими бы разными ни были у этих людей поэтические темпераменты, склонности и пристрастия, сама их биография не позволяла им ни миновать войну в жизни, ни обойти ее стороной в своих стихах.

Да, конечно, надо начинать с того, что сама война вторглась в их стихи, но сказать только это — мало!

Они, в свою очередь, вторглись в войну своими стихами, и она стала неотъемлемой частью их поэзии на все отпущенные им годы жизни. Одни начали писать войну юношами, в разгар ее, другие выпустили первые книги, успев постареть на эти четыре года войны.

Слуцкий явился в поэзию самым последним из них. В своей первой книге он повернулся к войне с, представлявшейся всем нам тогда огромной, двенадцатилетней дистанции. Но его книга «Память» не стала запоздавшей книгой. Все, чем жил этот человек в военные и послевоенные годы, все, что отстоялось в его душе и памяти твердыми взглядами, убеждениями, нравственными оценками, все это было изложено читателю с достойной сдержанностью и прямотой, с нехвастливой, но непоколебимой гордостью за свою страну и свой народ, сделавший то, что он сделал не только в годы сражений, но и после победы, поднимая из праха и пепла войны свою разоренную землю.

Я начал с книги «Память», но, мысленно переходя из книги в книгу Бориса Слуцкого, вплоть до вышедшей в 1978 году и названной им «Неоконченные споры», я повсюду вижу все ту же прочную закваску военных лет, все ту же строгую мерку нравственной требовательности к себе и другим, с которой поэт подходит ко всем испытаниям и в послевоенные годы.

Поэзию Слуцкого отличает ее принципиальная достоверность, ее прямая, я бы сказал, демонстративная связь с тем временем, когда живет поэт и когда создаются его стихи.

Еще в тридцатые годы великий грузин — Галактион Табидзе — писал:

Твой стих с тобой брал века высоту,
Решал бесстрастно и судил пристрастно.
Не оставляй его, как сироту,
Вне времени и вне пространства.

Это давнишнее обращение к поэтам я вспомнил не случайно, читая «Избранное» Слуцкого. Вот уж кто среди моих современни-

ков-поэтов действительно никогда и ничего не писал «вне времени и вне пространства!». Именно поэтому «Избранное» Слуцкого не только повесть о его собственной жизни, но и биография поколения, и портрет времени, полного тяжелейших испытаний.

Биография и портрет эти написаны с гордостью и в то же время без лести, без коленопреклонений, то есть с той истинной любовью, которая не уживается с лестью.

А если говорить о личности самого поэта, то его автопортрет, встающий со страниц «Избранного», отмечен чертами трезвости, самообладания и скромности, соединенными с обостренным чувством собственного достоинства, и начисто лишен всяких прикрас и «показухи».

Мне захотелось употребить именно это слово, столь же откровенно житейское и обиходное, как многие другие слова в поэзии Слуцкого. Его нередко укоряли в избытке прозаизмов. Укоряли, с точки зрения арифметической, может быть, и верно, но, с точки зрения поэтической сути,— несправедливо.

Так называемые «прозаизмы» Слуцкого для меня одна из наиболее привлекательных черт его поэтической манеры, точней сказать — его поэтической хватки. Разбираясь в событии или духовном конфликте, о которых он ведет речь, Слуцкий всегда хочет предельно точно выразить почувствованное им. Как поэт он не терпит приблизительности и ставит перед собой задачу вместе с читателем докопаться до самой сути, не допуская недомолвок и разночтений. Соглашусь, что это может нравиться или не нравиться, но само по себе такое завидное упорство в преодолении, казалось бы, иногда непреодолимого в рамках поэзии,— несомненное достоинство художника.

Среди стихов Слуцкого есть знаменитые, есть широко и менее известные. Они не обойдены вниманием критики, особенно с точки зрения анализа их мысли, их духовного багажа. Но мне кажется, что гораздо более пристального анализа достойно и само мастерство поэта, его незаурядное умение вложить в стихи трудную, не поддающуюся упрощениям и потому внешне как бы угловатую мысль. Мастерство редкое и, по-моему, завидное.

Не буду скрывать, да, если бы и захотел, не смог,— я отношусь к стихам Слуцкого пристрастно. И о войне, и о послевоенном вре-

мени Слуцкий написал много таких стихов, читая которые нередко кажется: вот это ты хотел написать сам, но не написал, а вот об этом думал так же, как он, но у тебя твоя мысль не воплотилась в стихи, а ему это удалось.

Так уж вышло, что в поколении поэтов, которое следовало за нашим, последним предвоенным, Борис Слуцкий с годами стал самой прочной моей любовью. И, не навязывая ее другим, я не хочу скрывать чувства, с которым пишу это вступительное слово к «Избранному» Слуцкого.

Мне хочется, чтобы читатели этой книги вошли в нее как в дом поэта — скромный, небогатый, чистый, в дом бескорыстных помыслов и непоколебимых на всю жизнь решений.

Март 1979 г.

Константин Симонов

Посвящается
Татьяне Дашковской

СТИХОТВОРЕНИЯ

ПАМЯТНИК

Дивизия лезла на гребень горы
По мерзлому,
мертвому,
мокрому
камню,
Но вышло,
что та высота высока мне.
И пал я тогда. И затих до поры.

Солдаты сыскали мой прах по весне,
Сказали, что снова я родине нужен,
Что славное дело,
почетная служба,
Большая задача поручена мне.

— Да я уже с пылью подножной смешался!
Да я уж травой придорожной пророс!
— Вставай, поднимайся! —
Я встал и поднялся.
И скульптор размеры на камень нанес.

Гримасу лица, искаженного криком,
Расправил, разгладил резцом ножевым.
Я умер простым, а поднялся великим.
И стал я гранитным,
а был я живым.

Расту из хребта,
как вершина хребта.
И выше вершин
над землей вырастаю.
И ниже меня остается крутая,
не взятая мною в бою высота.

Здесь скалы
                    от имени камня стоят.
Здесь сокол
                    от имени неба летает.
Но выше поставлен пехотный солдат,
Который Советский Союз представляет.

От имени родины здесь я стою
И кутаю тучей ушанку свою!

Отсюда мне ясные дали видны —
Просторы
                освобожденной страны,
Где графские земли
                        вручал
                            батракам я,
Где тюрьмы раскрыл,
                        где голодных кормил,

Где в скалах не сыщется
                            малого камня,
Которого б кровью своей не кропил.
Стою над землей
                    как пример и маяк.
И в этом
            посмертная
                        служба
                            моя.

КЕЛЬНСКАЯ ЯМА

Нас было семьдесят тысяч пленных
В большом овраге с крутыми краями.
Лежим
безмолвно и дерзновенно.
Мрем с голодухи
в Кельнской яме.

Над краем оврага утоптана площадь —
До самого края спускается криво.
Раз в день
на площадь
выводят лошадь,
Живую
сталкивают с обрыва.

Пока она свергается в яму,
Пока ее делим на доли
неравно,
Пока по конине молотим зубами,—
О бюргеры Кельна,
да будет вам срамно!

О граждане Кельна, как же так?
Вы, трезвые, честные, где же вы были,
Когда, зеленее, чем медный пятак,
Мы в Кельнской яме
с голоду выли?
Собрав свои последние силы,
Мы выскребли надпись на стенке отвесной,
Короткую надпись над нашей могилой —
Письмо
солдату Страны Советской.

«Товарищ боец, остановись над нами,
Над нами, над нами, над белыми костями.
Нас было семьдесят тысяч пленных,
Мы пали за родину в Кельнской яме!»

Когда в подлецы вербовать нас хотели,
Когда нам о хлебе кричали с оврага,
Когда патефоны о женщинах пели,
Партийцы шептали: «Ни шагу, ни шагу...»

Читайте надпись над нашей могилой!
Да будем достойны посмертной славы!
А если кто больше терпеть не в силах,
Партком разрешает самоубийство слабым.

О вы, кто наши души живые
Хотели купить за похлебку с кашей,
Смотрите, как, мясо с ладони выев,
Кончают жизнь товарищи наши!

Землю роем,
 скребем ногтями,
Стоном стонем
 в Кельнской яме,
Но все остается — как было, как было! —
Каша с вами, а души с нами.

ГОСПИТАЛЬ

Еще скребут по сердцу «мессера»,
Еще
вот здесь
безумствуют стрелки,
Еще в ушах работает «ура»,
Русское «ура-рарара-рарара!» —
На двадцать
слогов
строки.

Здесь
ставший клубом
бывший сельский храм —
Лежим
под диаграммами труда,
Но прелым богом пахнет по углам —
Попа бы деревенского сюда!
Крепка анафема, хоть вера не тверда.
Попишку бы ледащего сюда!

Какие фрески светятся в углу!
Здесь рай поет!
Здесь
ад
ревмя
ревет!
На глиняном истоптанном полу
Томится пленный,
раненный в живот.
Под фресками в нетопленном углу
Лежит подбитый унтер на полу.

Напротив,
на приземистом топча́не,
Кончается молоденький комбат.

На гимнастерке ордена горят.
Он. Нарушает. Молчанье.
Кричит!
(Шепотом — как мертвые кричат.)

Он требует, как офицер, как русский,
Как человек, чтоб в этот крайний час
Зеленый,
рыжий,
ржавый
унтер прусский
Не помирал меж нас!

Он гладит, гладит, гладит ордена,
Оглаживает,
гладит гимнастерку
И плачет,
плачет,
плачет
горько,
Что эта просьба не соблюдена.

А в двух шагах, в нетопленном углу,
Лежит подбитый унтер на полу.
И санитар его, покорного,
Уносит прочь, в какой-то дальний зал,
Чтоб он
своею смертью черной
Комбата светлой смерти
не смущал.
И снова ниспадает тишина.
И новобранца
наставляют
воины:
— Так вот оно,
какая
здесь
война!
Тебе, видать,
не нравится
она —
Попробуй
перевоевать
по-своему!

РОМАН ТОЛСТОГО

Нас привезли, перевязали,
Суть сводки нам пересказали.
Теперь у нас надолго нету дома.
Дом так же отдален, как мир.
Зато в палате есть четыре тома
Романа то́лстого «Война и мир».

Роман Толстого в эти времена
Перечитала вся страна.
В госпиталях и в блиндажах военных,
Для всех гражданских и для всех
военных
Он самый главный был роман,
любимый:
В него мы отступали из войны.
Своею стойкостью непобедимый,
Он обучал, какими быть должны.

Роман Толстого в эти времена
Страна до дыр глубоких залистала.
Мне кажется, сама собою стала,
Глядясь в него, как в зеркало, она.

Не знаю, что б на то сказал Толстой,
Но добродушье и великодушье
Мы сочетали с формулой простой:
Душить врага до полного удушья.
Любили по Толстому; по нему,
Одолевая смертную истому,
Докапывались, как и почему.
И воевали тоже по Толстому.

Из четырех томов его
косил
На Гитлера
фельдмаршал престарелый
И, не щадя умения и сил,
Устраивал засады и обстрелы.
С привычкой славной
вылущить зерно
Практического
перечли со вкусом
Роман. Толстого знали мы давно.
Теперь он стал победы
кратким курсом.

ВОЕННЫЙ РАССВЕТ

Тяжелые капли сидят на траве,
Как птицы на проволоке сидят:
Рядышком,
голова к голове.
Если крикнуть,
они взлетят.
Малые солнца купаются в них:
В каждой капле
свой личный свет.
Мне кажется, я разобрался, вник,
Что это значит — *рассвет*.
Это — пронзительно, как засов,
Скрипит на ветру лоза,
Но птичьих не слышится голосов —
Примолкли все голоса.
Это — солдаты усталые спят,
Крича сквозь сон
невест имена.
Но уже едет кормить солдат
На кухне верхом
старшина.
Рассвет.
Два с половиной часа
Мира. И нет войны.
И каплет медленная роса —
Слезы из глаз тишины.
Рассвет. По высям облачных гор
Лезет солнце,
все в рыжих лучах,
Тихое,
как усталый сапер,
С тяжким грузом огня
на плечах.

Рассвет. И видит во сне сержант:
Гитлер! Вот он, к стене прижат!
Залп. Гитлер падает у стены.
(Утром самые сладкие сны.)
Рассвет — это значит:
раз — свет!
Два — свет!
Три — свет!
Во имя света для всей земли
По темноте — пли!
Солнце!
Всеми лучами грянь!
Ветер!
Суши росу!

...Ах, какая бывает рань
В прифронтовом лесу!

* * *

Последнею усталостью устав,
Предсмертным равнодушием охвачен,
Большие руки вяло распластав,
Лежит солдат.
Он мог лежать иначе,
Он мог лежать с женой в своей постели,
Он мог не рвать намокший кровью мох,
Он мог...
Да мог ли? Будто? Неужели?
Нет, он не мог.
Ему военкомат повестки слал.
С ним рядом офицеры шли, шагали.
В тылу стучал машинкой трибунал.
А если б не стучал, он мог?
Едва ли.
Он без повесток, он бы сам пошел.
И не за страх — за совесть и за почесть.
Лежит солдат — в крови лежит, в
большой,
А жаловаться ни на что не хочет.

* * *

— Хуже всех на фронте пехоте!
— Нет! Страшнее саперам.
В обороне или в походе
Хуже всех им, без спора!

— Верно, правильно! Трудно и склизко
Подползать к осторожной траншее.
Но страшней быть девчонкой-связисткой,
Вот кому на войне
всех страшнее.

Я встречал их немало, девчонок!
Я им волосы гладил,
У хозяйственников ожесточенных
Добывал им отрезы на платье.

Не за это, а так
отчего-то,
Не за это,
а просто
случайно
Мне девчонки шептали без счета
Свои тихие, бедные тайны.

Я слыхал их немало, секретов,
Что слезами политы,
Мне шептали про то и про это,
Про большие обиды!
Я не выдам вас, будьте спокойны.
Никогда. В самом деле,
Слишком тяжко даются вам войны.
Лучше б дома сидели.

СОН

Утро брезжит,
а дождик брызжет.
Я лежу на вокзале
в углу.
Я еще молодой и рыжий,
Мне легко
на твердом полу.
Еще волосы не поседели
И товарищей милых
ряды
Не стеснились, не поредели
От победы
и от беды.

Засыпаю, а это значит:
Засыпает меня, как песок,
Сон, который вчера был начат,
Но остался большой кусок,

Вот я вижу себя в каптерке,
А над ней снаряды снуют.
Гимнастерки. Да, гимнастерки!
Выдают нам. Да, выдают!

Девятнадцатый год рожденья —
Двадцать два в сорок первом году —
Принимаю без возраженья,
Как планиду и как звезду.

Выхожу, двадцатидвухлетний
И совсем некрасивый собой,

В свой решительный, и последний,
И предсказанный песней бой.
И товарищ Ленин мне снится:
С пьедестала он сходит в тиши
И, протягивая десницу,
Пожимает мою от души.

ПИСАРЯ

Дело,
что было Вначале,—
сделано рядовым,
Но Слово,
что было Вначале,—
его писаря писали.
Легким листком оперсводки
скользнувши по передовым,
Оно спускалось в архивы,
вставало там на причале.
Архивы Красной Армии, хранимые как святыня,
Пласты и пласты документов,
подобные
угля пластам!
Как в угле скоплено солнце,
в них наше сияние стынет,
Собрано,
пронумеровано
и в папки сложено там.
Четыре Украинских фронта,
Три Белорусских фронта,
Три Прибалтийских фронта,
Все остальные фронты
Повзводно,
Побатарейно,
Побатальонно,
Поротно —
Все получат памятники особенной красоты.
А камни для этих статуй тесали кто? Писаря.
Бензиновые коптилки
неярким светом светили

На листики из блокнотов,
где,
попросту говоря,
Закладывались основы
литературного стиля.
Полкилометра от смерти —
таков был глубокий тыл,
В котором работал писарь.
Это ему не мешало.
Он,
согласно инструкций,
в точных словах воплотил
Все,
что, согласно инструкций,
ему воплотить надлежало.
Если ефрейтор Сидоров был ранен в честном бою,
Если никто не видел
тот подвиг его
благородный,
Лист из блокнота выдрав,
фантазию шпоря свою,
Писарь писал ему подвиг
длиною в лист блокнотный.
Если десятиклассница кричала на эшафоте,
Если крестьяне вспомнили два слова:
«Победа придет!»
Писарь писал ей речи,
писал монолог,
в расчете
На то,
что он сам бы крикнул,
взошедши на эшафот.
Они обо всем написали
слогом простым и живым,
Они нас всех прославили,
а мы
писарей
не славим.
Исправим же этот промах,
ошибку эту исправим
И низким,
земным поклоном
писаря
поблагодарим!

ЗАДАЧА

— Подобрать троих для операции! —
Вызвалось пятнадцать человек.
Как тут быть,
на что тут опираться?
Ошибешься — не простят вовек.
Офицер из отделенья кадров,
До раненья ротный политрук,
Посадил охотников под карту
И не сводит глаз с дубленых рук.
Вот сидят они,
двадцатилетние,
Теребят свои пилотки летние
В зимних,
в обмороженных руках.
Что прочтешь в опущенных глазах?
Вот сидят они,
благоразумные,
Тихие и смирные сверх смет,
Выбравшие верную, обдуманную,
Многое решающую
смерть.
Ихние родители
не спрошены,
Ихние пороки
не запрошены,
Неизвестны ихние дела.
Ихние анкеты потревожены.
Вот и всё. Лежат в углу стола.
Сведения.
Сведения.

Сведения —
Куцые — на краешке стола.
О наука человековедения!
Твой размах не свыше ремесла.
Как тут быть,
                    на что тут опираться,
Если три часа до операции?

О ПОГОДЕ

1

Я помню парады природы
И хмурые будни ее,
Закаты альпийской породы,
Зимы задунайской нытье.

Мне было отпущено вдоволь —
От силы и невпроворот —
Дождя монотонности вдовьей
И радуги пестрых ворот.

Но я ничего не запомнил,
А то, что запомнил,— забыл,
А что не забыл, то не понял:
Пейзажи солдат заслонил.

Шагали солдаты по свету —
Истертые ноги в крови.
Вот это,
                друзья мои, это
Внимательной стоит любви.

Готов отказаться от парков
И в лучших садах не бывать,
Лишь только б не жарко, не парко,
Не зябко солдатам шагать.

Солдатская наша порода
Здесь как на ладони видна:
Солдату нужна не природа,
Солдату погода нужна.

2

Когда не бываешь по году
В насиженных гнездышках комнат,
Тогда забываешь погоду,
Покуда сама не напомнит.

Покуда за горло не словит
Железною лапой бурана,
Покуда морозом не сломит,
Покуда жарою не ранит.

Но май сорок пятого года
Я помню поденно, почасно,
Природу его, и погоду,
И общее гордое счастье.
Вставал я за час до рассвета,
Отпиливал полкаравая
И долго шатался по свету,
Глаза широко раскрывая.

Трава полусотни названий
Скрипела под сапогами.
Шли птичьи голосованья,
Но я разбирался в том гаме.
Пушистые белые льдинки
Торжественно по небу плыли.
И было мне странно и дико,
Что люди всё это — забыли.
И тополя гулкая лира,
И белые льдинки — все это
Входило в условия мира
И было частицей победы.
Как славно, что кончилась в мае
Вторая война мировая!
Весною все лучше и краше.
А лучше бы —
                    кончилась раньше.

* * *

Я говорил от имени России,
Ее уполномочен правотой,
Чтоб излагать с достойной прямотой
Ее приказов формулы простые.
Я был политработником. Три года —
Сорок второй и два еще потом.

Политработа — трудная работа.
Работали ее таким путем:
Стою перед шеренгами неплотными,
Рассеянными час назад
в бою,
Перед голодными, перед холодными,
Голодный и холодный.
Так!
Стою.

Им хлеб не выдан,
им патрон недодано.
Который день поспать им не дают.
И я напоминаю им про родину.
Молчат. Поют. И в новый бой идут.
Все то, что в письмах им писали из дому,
Все то, что в песнях с их судьбой сплелось,
Все это снова, заново и сызнова,
Коротким словом — родина — звалось.
Я этот день,
Воспоминанье это,
Как справку
собираюсь предъявить,
Затем,
чтоб в новой должности — поэта —
От имени России
говорить.

ПЕРЕРЫВ

На строительстве был перерыв —
Целый час на обед и на роздых.
Полземли прокопав и прорыв,
Выбегали девчата на воздух.
Покупали в киоске батон,
Разбивали арбуз непочатый.
Это полперерыва. Потом
Полчаса танцевали девчата.

Патефон захрипел и ослаб,
Дребезжа перержавленной жестью,—
И за это покрыт был прораб
Мелодической руганью женской.

Репродуктор эфир начинял
Популярнейших песен словами.
Если диктор статью начинал,
Так они под статью танцевали.

Под звонок, под свисток, под гудок —
Лишь бы ноги ритмично ходили.
А потом отошли в холодок,
Посидели, все обсудили.
И, косынками косы накрыв,
На работу —
                    по сходням
                                        дощатым!
Вот как много успели девчата
За обеденный перерыв!

КАДРЫ — ЕСТЬ!

Кадры — есть! Есть, говорю, кадры.
Люди толпами ходят.
Надо выдумать страшную кару
Для тех, кто их не находит.

Люди — ракету изобрели.
Человечество до Луны достало.
Не может быть, чтоб для Земли
Людей не хватало.

Как ни плотна пелена огня,
Какая ни канонада,
Встает человек: «Пошлите меня!»
Надо — значит, надо!

Люди, как звезды,
восходят затемно
И озаряют любую тьму.
Надо их уважать обязательно
И не давать обижать никому.

МАЛЬЧИШКИ

Все спали в доме отдыха,
Весь день — с утра до вечера.
По той простой причине,
Что делать было нечего.
За всю войну впервые,
За детство в первый раз
Им делать было нечего —
Спи
хоть день, хоть час!

Все спали в доме отдыха
Ремесленных училищ.
Все спали и не встали бы,
Хоть что бы ни случилось.
Они войну закончили
Победой над врагом,
Мальчишки из училища,
Фуражки с козырьком.

Мальчишки в форме ношеной,
Шестого срока минимум.
Они из всей истории
Учили подвиг Минина
И отдали отечеству
Не злато-серебро —
Единственное детство,
Все свое добро.

На длинных подоконниках
Цветут цветы бумажные.
По выбеленным комнатам
Проходят сестры важные.

Идут неслышной поступью.
Торжественно молчат:

Смежив глаза суровые,
Здесь,
    рядом,
        дети спят.

ПАМЯТЬ

Я носил ордена.
После — планки носил.
После — просто следы этих планок носил.
А потом гимнастерку до дыр износил
И надел заурядный пиджак.
А вдова Ковалева все помнит о *нем*,
И дорожки от слез — это память о *нем*,
Столько лет не забудет никак!
И не надо ходить. И нельзя не пойти.
Я иду. Покупаю букет по пути.

Ковалева Мария Петровна, вдова,
Говорит мне у входа слова.
Ковалевой Марии Петровне в ответ
Говорю на пороге: — Привет! —
Я сажусь, постаравшись к портрету спиной,
Но бессменно висит надо мной
Муж Марии Петровны,
Мой друг Ковалев,
Не убитый еще, жив-здоров.
В глянцевитый стакан наливается чай.
А потом выпивается чай. Невзначай.
Я сижу за столом,
Я в глаза ей смотрю,
Я пристойно шучу и острю.
Я советы толково и веско даю —
У двух глаз,
У двух бездн на краю.
И, утешив Марию Петровну как мог,
Ухожу за порог.

ГОЛОС ДРУГА

Памяти поэта
Михаила Кульчицкого

Давайте после драки
Помашем кулаками:
Не только пиво-раки
Мы ели и лакали,
Нет, назначались сроки,
Готовились бои,
Готовились в пророки
Товарищи мои.

Сейчас все это странно,
Звучит все это глупо.
В пяти соседних странах
Зарыты наши трупы.
И мрамор лейтенантов —
Фанерный монумент —
Венчанье тех талантов,
Развязка тех легенд.

За наши судьбы (личные),
За нашу славу (общую),
За ту строку отличную,
Что мы искали ощупью,
За то, что не испортили
Ни песню мы, ни стих,
Давайте выпьем, мертвые,
Во здравие живых!

ЗАСУХА

Лето сорок шестого года.
Третий месяц жара,— погода.
Я в армейской больнице лежу
И на палые листья гляжу.

Листья желтые, листья палые
Ранним летом сулят беду.
По палате, словно по палубе,
Я, пошатываясь, бреду.

Душно мне.
Тошно мне.
Жарко мне.
Рань, рассвет, а такая жара!
За спиною шлепанцев шарканье,
У окна вся палата с утра.

Вся палата, вся больница,
Вся моя большая земля
За свои посевы боится
И жалеет свои поля.

А жара все жарче.
Нет мочи.
Накаляется листьев медь.
Словно в танке танкисты,
молча
Принимают
колосья
смерть.

Реки, Гитлеру путь
                    преграждавшие,
Обнажают песчаное дно.
Камыши, партизан скрывавшие,
Погибают с водой заодно.

...Кавалеры ордена Славы,
Украшающего халат,
На жару не находят управы
И такие слова говорят:

— Эта самая подлая засуха
Не сильней, не могучее нас,
Сапоги вытиравших насухо
О знамена врагов
                    не раз.

Листья желтые, листья палые,
Не засы́пать вам нашей земли!
Отходили мы, отступали мы,
А, глядишь, до Берлина дошли.

Так, волнуясь и угрожая,
Мы за утренней пайкой идем,
Прошлогоднего урожая
Караваи
          в руки берем.

Режем,
        гладим,
                пробуем,
                        трогаем
Черный хлеб, милый хлеб,
                        а потом —
Возвращаемся той же дорогой,
Чтоб стоять
            перед тем же окном.

БАНЯ

Вы не были в районной бане
В периферийном городке?
Там шайки с профилем кабаньим
И плеск,
как летом на реке.

Там ордена сдают вахтерам,
Зато приносят в мыльный зал
Рубцы и шрамы — те, которым
Я лично больше б доверял.

Там двое одноруких
спины
Один другому бодро трут.
Там тело всякого мужчины
Исчеркали
война
и труд.

Там по рисунку каждой травмы
Читаю каждый вторник я
Без лести и обмана драмы
Или романы без вранья.

Там на груди своей широкой
Из дальних плаваний
матрос
Лиловые татуировки
В наш сухопутный край
занес.

Там я, волнуясь и ликуя,
Читал,
        забыв о кипятке:
«Мы не оставим мать родную!» —
У партизана на руке.

Там слышен визг и хохот женский
За деревянною стеной.
Там чувство острого блаженства
Переживается в парной.

Там рассуждают о футболе.
Там
    с поднятою головой
Несет портной свои мозоли,
Свои ожоги — горновой.

Но бедствий и сражений годы
Согнуть и сгорбить не смогли
Ширококостную породу
Сынов моей большой земли.

Вы не были в раю районном,
Что меж кино и стадионом?
В той бане
            парились иль нет?
Там два рубля любой билет.

ШКОЛА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

В те годы утром я учился сам,
А вечером преподавал историю
Для тех ее вершителей, которые
Историю вершили по утрам:
Для токарей, для слесарей, для плотников,
Встававших в полшестого, до гудка,
Для государства нашего работников,
Для деятелей стройки и станка.

Я был и тощ и невысок, а взрослые —
Все на подбор, и крупные и рослые,
А все-таки они день ото дня
Все терпеливей слушали меня.

Работавшие день-деньской, усталые,
Они мне говорили иногда:
— Мы пожилые. Мы еще не старые.
Еще учиться не ушли года.—
Работавшие день-деньской, до вечера,
Карандашей огрызки очиня,
Они упорно, сумрачно и вежливо
И терпеливо слушали меня.
Я факты объяснял,
а точку зрения
Они, случалось, объясняли мне.
И столько ненависти и презрения
В ней было
к барам,
к Гитлеру,
к войне!

Локтями опершись о подоконники,
Внимали мне,
морщиня глыбы лбов,
Чапаева и Разина поклонники,
Сторонники
голодных и рабов.

А я гордился честным их усердием,
И сам я был
внимателен, как мог.
И радостно,
с открытым настежь сердцем,
Шагал из института на урок.

* * *

Я учитель школы для взрослых,
Так оттуда и не уходил —
От предметов точных и грозных,
От доски, что черней чернил.

Даже если стихи слагаю,
Все равно — всегда между строк —
Я историю излагаю,
Только самый последний кусок.

Все писатели — преподаватели.
В педагогах служит поэт.
До конца мы еще не растратили
Свой учительский авторитет.

Мы не просто рифмы нанизывали —
Мы добьемся такой строки,
Чтоб за нами слова записывали
После смены ученики.

* * *

Высокó он голову носил,
Высокó-высóко.
Не ходил, а словно восходил,
Словно солнышко с востока.

Рядом с ним я — как сухая палка
Рядом с теплой и живой рукой.
Все равно — не горько и не жалко.
Хорошо! Пускай хоть он такой.

Мне казалось, дружба — это служба.
Друг мой — командирский танк.
Если он прикажет: «Делай так!» —
Я готов был делать так — послушно.

Мне казалось, дружба — это школа.
Я покуда ученик.
Я учусь не очень скоро.
Это потруднее книг.

Всякий раз, как слышу первый гром,
Вспоминаю,
Как он стукнул мне в окно: «Пойдем!» —
Двадцать лет назад в начале мая.

ЛОШАДИ В ОКЕАНЕ

И. Эренбургу

Лошади умеют плавать,
Но — не хорошо. Недалеко.

«Глория» по-русски значит «Слава»,—
Это вам запомнится легко.

Шел корабль, своим названьем гордый,
Океан старался превозмочь.

В трюме, добрыми мотая мордами,
Тыща лошадей топталась день и ночь.

Тыща лошадей! Подков четыре тыщи!
Счастья все ж они не принесли.

Мина кораблю пробила днище
Далеко-далёко от земли.

Люди сели в лодки, в шлюпки влезли.
Лошади поплыли просто так.

Что ж им было делать, бедным, если
Нету мест на лодках и плотах?

Плыл по океану рыжий остров.
В море в синем остров плыл гнедой.

И сперва казалось — плавать просто,
Океан казался им рекой.

Но не видно у реки той края.
На исходе лошадиных сил

Вдруг заржали кони, возражая
Тем, кто в океане их топил.

Кони шли на дно и ржали, ржали,
Все на дно покуда не пошли.

Вот и всё. А все-таки мне жаль их —
Рыжих, не увидевших земли.

БЛУДНЫЙ СЫН

Истощенный нуждой,
Истомленный трудом,
Блудный сын возвращается в отческий дом
И стучится в окно осторожно.
— Можно?
— Сын мой! Единственный! Можно!
Можно все. Лобызай, если хочешь, отца,
Обгрызай духовитые кости тельца́.
Как приятно, что ты возвратился!
Ты б остался, сынок, и смирился.—
Сын губу утирает густой бородой,
Поедает тельца́,
Запивает водой,
Аж на лбу блещет капелька пота
От такой непривычной работы.
Вот он съел, сколько смог.
Вот он в спальню прошел,
Спит на чистой постели.
Ему — хорошо!
И встает.
И свой посох находит.
И, ни с кем не прощаясь, уходит.

ЛЕТОМ

Словно вход,
Словно дверь —
И сейчас же за нею
Начинается время,
Где я начинался.
Все дома стали больше.
Все дороги — длиннее.
Это детство.
Не впал я в него,
А поднялся.

Только из дому выйду,
На улицу выйду —
Всюду светлые краски такого разгара,
Словно шар я из пены
соломинкой выдул
И лечу на подножке у этого шара.

Надо мною мечты о далеких планетах.
Подо мною трамваи ярчайшего цвета —
Те трамваи, в которых за пару монеток
Можно много поездить по белому свету.

Подо мною мороженщик с тачкою
белой,
До отказа набитою сладкой зимою.
Я спускаюсь к нему,
Подхожу, оробелый,
Я прошу посчитать эту вафлю за мною.

Если даст, если выдаст он вафлю —
я буду
Перетаскивать лед для него
хоть по пуду.

Если он не поверит,
Решит, что нечестен,—
Целый час я, наверное,
Буду несчастен.
Целый час быть несчастным —
Ведь это не шутки.
В часе столько минуток,
А в каждой минутке
Еще больше секунд.
И любую секунду
В этом часе, наверно,
Несчастным я буду!

Но снимается с тачки блестящая
крышка,
И я слышу: «Бери!
Ты хороший мальчишка!»

18 ЛЕТ

Было полтора чемодана.
Да, не два, а полтора
Шмутков, барахла, добра
И огромная жажда добра,
Леденящая, вроде Алдана.
И еще — словарный запас,
Тот, что я на всю жизнь запас.
Да, просторное, как Семиречье,
Крепкое, как его казачьё,
Громоносное просторечье,
Общее,
Ничье,
Но мое.

Было полтора костюма:
Пара брюк и два пиджака,
Но улыбка была — неприступна,
Но походка была — легка.

Было полторы баллады
Без особого складу и ладу.
Было мне восемнадцать лет,
И — в Москву бесплацкартный билет
Залегал в сердцевине кармана,
И еще полтора чемодана
Шмутков, барахла, добра
И огромная жажда добра.

МЕДНЫЕ ДЕНЬГИ

Я на медные деньги учился стихам,
На тяжелую, гулкую медь,
И набат этой меди с тех пор не стихал,
До сих пор продолжает греметь.
Мать, бывало, на булку дает мне пятак,
А позднее — и два пятака.
Я терпел до обеда и завтракал *так,*
Покупая книжонки с лотка.
Сахар вырос в цене или хлеб дорожал —
Дешевизною Пушкин зато поражал.
Полки в булочных часто бывали пусты,
А в читальнях ломились они
От стиха,
　　　　　　от безмерной его красоты.
Я в читальнях просиживал дни.
Весь квартал наш
　　　　　　　　　　меня сумасшедшим считал,
Потому что стихи на ходу я творил,
А потом на ходу, с выраженьем, читал,
А потом сам себе: «Хорошо!» — говорил.
Да, какую б тогда я ни плел чепуху,
Красота, словно в коконе, пряталась в ней.
Я на медную мелочь
　　　　　　　　　　　учился стиху.
На большие бумажки
　　　　　　　　　　　учиться трудней.

ДЕКАБРЬ 41-го ГОДА

Памяти М. Кульчицкого

Та линия, которую мы гнули,
Дорога, по которой юность шла,
Была прямою от стиха до пули —
Кратчайшим расстоянием была.
Недаром за полгода до начала
Войны
            мы написали по стиху
На смерть друг друга.
                                            Это означало,
Что *знали* мы.
                                И вот — земля в пуху.
Морозы лужи накрепко стеклят,
Трещат, искрятся, как в печи поленья:
Настали дни проверки исполненья,
Проверки исполненья наших клятв.

Не ждите льгот, в спасение не верьте:
Стучит судьба, как молотком бочар.
И Ленин учит нас презренью к смерти,
Как прежде воле к жизни обучал.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Перед войной я написал подвал
Про книжицу поэта-ленинградца
И доказал, что, если разобраться,
Певец довольно скучно напевал.

Я сдал статью и позабыл об этом,
За новую статью был взяться рад.
Но через день бомбили Ленинград —
И автор книжки сделался поэтом.

Все то, что он в балладах обещал,
Чему в стихах своих трескучих клялся,
Он выполнил — боролся, и сражался,
И смертью храбрых, как предвидел, пал.

Как хорошо, что был редактор зол
И мой подвал крестами переметил
И что, товарищ павший,
                                        перед смертью
Его,
        скрипя зубами,
                                не прочел.

С НАШЕЙ УЛИЦЫ

Не то чтобы попросту шлюха,
Не то чтоб со всеми подряд,
Но все-таки тихо и глухо
Плохое о ней говорят.
Но вот она замуж решает,
Бросает гулять наконец
И в муках ребенка рожает —
Белесого,
точно отец.
Как будто бы
содою с мылом,
Как будто отребья сняла,
Она отряхнула и смыла
Все то, чем была и слыла.
Гордясь красотою жестокой,
Она по бульвару идет,
А рядышком
муж синеокий
Блондина-ребенка несет.
Злорадный, бывалый, прожженный
И хитрый
бульвар
приуныл:
То сын ее,
в муках рожденный,
Ее от обид заслонил.

* * *

Конверт приходит с тихим шорохом:
Опущенный, потом надорванный,
А телефон гремит, как порохом,
Как будто динамитом взорванный.

Без телефонов было проще все —
Порядки, нравы и законы.
Как много места в жизни общества
Позанимали телефоны.

Повыключить все точки сразу бы,
Чтоб письма возродились заново.
А в писаном побольше разума,
Чем в сказанном,— и несказанного.

КОГДА МЫ ПРИШЛИ В ЕВРОПУ

О если б они провидели,
О если бы знать могли,
Властители и правители,
Хозяева этой земли!
Они бы роздали злато,
Пожертвовали серебром
И выписались из богатых —
Сами ушли бы, добром.
Но слышащие — не слышали,
Но зрячие — не глядят,
Покуда их не повышибли
Из каменных их палат.

И вот умирают классы,
Как на ветру — свеча,
И трубные радиогласы
Гласят про смерть богача.
И режут быков румынских
Румынские кулаки
И талеров полные миски
Закапывают у реки

А я гляжу, на Балканах,
Как тащит сердитый народ
За шиворот, словно пьяных,
Кумиры былых господ.
Сперва на них петлю набрасывают,
Потом их влачат трактора,
Потом их в канавы сбрасывают
Под общие крики «ура!».

О если б они провидели,
О если бы знать могли,
Властители и правители,
Князья, цари, короли!
Они бы из статуй медных
Наделали б медных котлов
И каши сварили для бедных —
Мол, ешьте без лишних слов.

Но слышащие — не слышали,
Но зрячие — не глядят,
Покуда их не повышибли
Из каменных их палат...

ИЗ ПЛЕНА

По базару тачка ехала,
Двухколесная и грязная.
То ли с плачем, то со смехом ли
Люди всякие и разные
На нее смотрели пристально,
Шеи с любопытством выставя,
А потом крестились истово
Или гневались неистово:

Мальчики мал мала меньше
В тачке той лежат притихшие.
А толкает тачку женщина,
Этих трех мужчин родившая.
По кривой базарной улице
Поступью проходит твердою.
Не стыдится, не сутулится,
А серьезная и гордая.

Мы, фашизма победители,
Десять стран освобождавшие,
Эту бабу не обидели,
Тачку мимо нас толкавшую.
Мы поздравили с победою
Эту женщину суровую
И собрали ей как следует —
Сухарями и целковыми.

* * *

Вот вам село обыкновенное:
Здесь каждая вторая баба
Была жена, супруга верная,
Пока не прибыло из штаба
Письмо, бумажка похоронная,
Что писарь написал вразмашку.

С тех пор
как будто покоренная
Она
той малою бумажкою.

Пылится платьице бордовое —
Ее обнова подвенечная,
Ах, доля бабья, дело вдовое,
Бескрайное и бесконечное!

Она войну такую выиграла!
Поставила хозяйство на ноги!
Но как трава на солнце,
выгорело
То счастье, что не встанет наново.

Вот мальчики бегут и девочки,
Опаздывают на занятия.
О, как желает счастья деточкам
Та, что не будет больше матерью!

Вот гармонисты гомон подняли,
И на скрипучих досках клуба
Танцуют эти вдовы. По двое.
Что, глупо, скажете? Не глупо!

Их пары птицами взвиваются,
Сияют утреннею зорькою,
И только сердце разрывается
От этого веселья горького.

СВЕРСТНИКАМ

Широкоплечие интеллигенты —
Производственники, фронтовики,
Резкие, словно у плотников, жесты,
Каменное пожатье руки.

Смертью смерть многократно поправшие,
Лично пахавшие столько целин,
Лично, непосредственно бравшие
Столицу Германии — город Берлин.

Тяжелорукие, но легконогие,
Книжки перечитавшие — многие,
Бревна таскавшие — без числа,
В бой, на врага поднимавшие роту —
Вас ожидают большие дела!
Крепко надеюсь на вашу породу.

* * *

Надо думать, а не улыбаться,
Надо книжки трудные читать,
Надо проверять — и ушибаться,
Мнения не слишком почитать.

Мелкие пожизненные хлопоты
По добыче славы и деньжат
К жизненному опыту
Не принадлежат.

ПРЕИМУЩЕСТВА СТАРОСТИ

Двадцатилетним можно говорить:
«Зайдите через год!» Сорокалетним
Простительно поверить сплетням
И кашу без причины заварить.
А старики не могут ошибаться
И ждать или блуждать.
Они не могут молча наблюдать
И падать или ушибаться.
Нет, слишком кость ломка у старика,
Чтоб ушибиться.
Слишком мало
Осталось дней.
И чересчур близка
Черта,
Которую не переходят.
Поэтому так часто к ним приходит
И высота и светлота.

* * *

Широко известен в узких кругах,
Как модерн старомоден,
Крепко держит в слабых руках
Тайны всех своих тягомотин.
Вот идет он, маленький, словно великое
Герцогство Люксембург.
И какая-то скрипочка в нем пиликает,
Хотя в глазах запрятан испуг.
Смотрит на меня. Жалеет меня.
Улыбочка на губах корчится.
И прикуривать даже не хочется
От его негреющего огня.

* * *

Умирают мои старики —
Мои боги, мои педагоги,
Пролагатели торной дороги,
Где шаги мои были легки.

Вы, прикрывшие грудью наш возраст
От ошибок, угроз и прикрас,
Неужели дешевая хворость
Одолела, осилила вас?

Умирают мои старики,
Завещают мне жить очень долго,
Но не дольше, чем нужно по долгу,
По закону строфы и строки.

* * *

Народ за спиной художника
И за спиной Ботвинника,
Громящего осторожненько
Талантливого противника.
Народ,
          за спиной мастера
Нетерпеливо дышащий,
Но каждое слово
                    внимательно
Слушающий
               и слышащий,
Побудь с моими стихами,
Постой хоть час со мною.
Дай мне твое дыханье
Почувствовать за спиною.

* * *

Хорошо, когда хулят и хвалят,
Превозносят или наземь валят,
Хорошо стыдиться и гордиться
И на что-нибудь годиться.
Не хочу быть вычеркнутым словом
В телеграмме — без него дойдет! —
А хочу быть вытянутым ломом,
В будущее продолбавшим ход.

ПСЕВДОНИМЫ

Когда человек выбирал псевдоним
Веселый,
Он думал о том, кто выбрал фамилию
Горький.
А также о том, кто выбрал фамилию
Бедный.
Веселое время, оно же светлое время,

С собой привело псевдонимы
Светлов и Веселый.
Но не допустило бы
снова назваться
Горьким и Бедным.
Оно допускало фамилию
Беспощадный,
Но не позволяло фамилии
Безнадежный.

Какие люди брали тогда псевдонимы,
Фамилий своих отвергая унылую
ветошь!
Какая эпоха уходит сейчас вместе
с ними!
Ее пожаром, Светлов,
ты по-прежнему светишь.

...Когда его выносили из клуба
Писателей, где он проводил полсуток,
Все то, что тогда говорилось, казалось
глупо,
Все повторяли обрывки светловских
шуток.

Он был острословьем самой серьезной
эпохи,
Был шуткой тех, кому не до шуток было.
В нем заострялось время, с которым
шутки плохи,
В нем накалялось время
до самого светлого пыла.

Не много мы с ним разговаривали
разговоров,
И жили не вместе, и пили не часто,
Но то, что не видеть мне больше
повадку его и норов,—
Большое несчастье.

БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМКИН»

Шел фильм.
И билетерши плакали
Над ним одним
По восемь раз.
И слезы медленные капали
Из добрых близоруких глаз.

Глазами горькими и грозными
Они смотрели на экран,
А дети стать стремились взрослыми,
Чтоб их пустили на сеанс.

Как много создано и сделано
Под музыки дешевый гром
Из смеси черного и белого
С надеждой, правдой и добром!

Свободу восславляли образы,
Сюжет кричал, как человек,
И пробуждались чувства добрые
В жестокий век,
В двадцатый век.

И милость к падшим призывалась,
И осуждался произвол.
Все вместе это называлось,
Что просто фильм такой пошел.

С. П. СЕДОВ

Савелий Петрович Седов
Приехал в Москву из деревни
В старинный, забытый и древний
Период двадцатых годов.

На вялых листочках анкет
Писал он разборчиво — крупно,
Решительно, зло, неотступно
Серьезное слово «Поэт».

То время поэта всерьез,
И слишком всерьез, принимало.
На гребни эстрад поднимало,
Любило поэта до слез.

Сажало его, как зерно
Грядущего, лучшего люда,
В суглинок. И брало оттуда.
То время избыто давно.

Певец невысоких садов.
Сказитель рязанских гераней.
Савелий Петрович Седов
Есенина выбрал героем.

Он раннюю старость застал
Поэта
        и стал ему другом.
И слушал усталую ругань
В трактирах московских застав.

Усвоив повадки и удаль,
Талант не освоил никак.
И вот из поэзии убыл
Седов, поступил на рабфак.

Была несомненная хватка
В том сыне рязанской земли.
Стихи и дешевая водка
Его оглупить не смогли.

Его не смогла успокоить,
Смирить, покорить не могла
Богемной хвальбы пустяковость,
Небрежных журналов хула.

Просодии тайны постигший,
Он алгебры тайны постиг.
Студентом пять лет пропостившись,
Отстал от занятий пустых.

Я знал его в новую эру.
Седой — он еще не сдавал
И в звании инженера
Мне угол в квартире сдавал.

ФИЗИКИ И ЛИРИКИ

Что-то физики в почете,
Что-то лирики в загоне.
Дело не в сухом расчете,
Дело в мировом законе.

Значит, что-то не раскрыли
Мы,
    что следовало нам бы!
Значит, слабенькие крылья —
Наши сладенькие ямбы,
И в пегасовом полете
Не взлетают наши кони...
То-то физики в почете,
То-то лирики в загоне.

Это самоочевидно.
Спорить просто бесполезно.
Так что даже не обидно,
А скорее интересно
Наблюдать, как, словно пена,
Опадают наши рифмы
И величие
            степенно
Отступает в логарифмы.

* * *

Поэт не телефонный,
А телеграфный провод.
Событье — вот законный
Для телеграммы повод.

Восстания и войны,
Рождения и гибели
Единственно достойны,
Чтоб их морзянкой выбили.

А вот для поздравления
Мне телеграфа жаль
И жаль стихотворения
На мелкую печаль.

Мне жаль истратить строки
И лень отдать в печать,
Чтоб малые пороки
Толково обличать.

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ПОЭТАМ

Отбывайте, ребята, стаж.
Добывайте, ребята, опыт.
В этом доме любой этаж
Только с бою может быть добыт.
Легче хочешь?
Нет, врешь.
Проще, думаешь?
Нет, плоше.
Если что-нибудь даром возьмешь,
Это выйдет себе дороже.

Может быть, ни одной войны
Вам, ребята, пройти не придется.
Трижды
МИР отслужить вы должны:
Как положено,
Как ведется.

Здесь, в стихах, ни лести, ни подлости
Недействительна власть.
Как на Северном полюсе:
Ни купить, ни украсть.

У народа нету времени,
Чтоб выслушивать пустяки.
В этом трудность стихотворения
И задача для вашей строки.

ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД

Я вывернул события мешок
И до пылинки вытряс на бумагу.
И, словно фокусник, подобно магу,
Загнал его на беленький вершок.
Вся кровь, что океанами текла,
В стакан стихотворенья поместилась.
Вся мировая изморозь и стылость
Покрыла гладь оконного стекла.
Но солнце вышло из меня потом,
Чтобы расплавить мировую наледь
И путникам усталым просигналить,
Каким им ближе следовать путем.

Все это было на одном листе,
На двадцати плюс-минус десять строчках.
Поэты отличаются от прочих
Людей
приверженностью к прямоте
И краткости.

* * *

Похожее в прозе на ерунду
В поэзии иногда
Напомнит облачную череду,
Плывущую на города.

Похожее в прозе на анекдот,
Пройдя сквозь хорей и ямб,
Напоминает взорванный дот
В соцветье воронок и ям.

Поэзия, словно разведчик, в тиши
Просачивается сквозь прозу.
Наглядный пример: «Как хороши,
Как свежи были розы».

И проза, смирная пахота строк,
Сбивается в елочку или лесенку.
И ритм отбивает какой-то срок.
И строфы сползаются в песенку.

И что-то входит, слегка дыша,
И бездыханное оживает:
Не то поэзия, не то душа,
Если душа бывает.

* * *

Хлеба — мало. Комнаты — мало.
Даже обеда с квартирой — мало.
Надо, чтоб было куда пойти,
Надо, чтоб было с кем не стесняться,
С кем на семейной карточке сняться,
Кому телеграмму отбить в пути.

Надо не мало. Надо — много.

Плохо, если живем неплохо.
Давайте будем жить блестяще.
Логика хлеба и воды,
Логика беды и еды
Все настойчивее, все чаще
Вытесняется логикой счастья.
Наша измученная земля
Заработала у вечности,
Чтоб счастье отсчитывалось от бесконечности,
А не от абсолютного нуля.

* * *

Комната кончалась не стеной,
А старинной плотной занавеской,
А за ней — пронзительный и резкий,
Словно жестяной,
Голос жил и по утрам
Требовал настойчиво газеты,
А потом негромко повторял:
— Принесли уже газеты?

Много лет, как паралич разбил,
Все здоровье — выпил.
Все как есть сожег и истребил,
Этого не выбил.
Этой страсти одолеть не смог.
Временами глухо
Слышалось, как, скорчившись в комок,
Плакала старуха.

— Больно? — спросишь.
— Что ты,— говорит.—
Засуха!
В Поволжье хлеб горит.

СТАРУХИ И СТАРИКИ

В. Сякину

Старух было много, стариков было мало:
То, что гнуло старух, стариков ломало.
Старики умирали, хватаясь за сердце,
А старухи, рванув гардеробные дверцы,
Доставали костюм выходной, суконный,
Покупали гроб дорогой, дубовый
И глядели в последний, как лежит законный,
Прижимая лацкан рукой пудовой.
Постепенно образовались квартиры,
А потом из них слепились кварталы,
Где одни старухи молитвы твердили,
Боялись воров, о смерти болтали.
Они болтали о смерти, словно
Она с ними чай пила ежедневно,
Такая же тощая, как Анна Петровна,
Такая же грустная, как Марья Андревна.
Вставали рано, словно матросы,
И долго, темные, словно индусы,
Чесали гребнем редкие косы,
Катали в пальцах старые бусы.
Ложились рано, словно солдаты,
А спать не спали долго-долго,
Катая в мыслях какие-то даты,
Какие-то вехи любви и долга.
И вся их длинная,
Вся горевая,
Вся их радостная,
Вся трудовая —
Вставала в звонах ночного трамвая,
На миг
бессонницы не прерывая.

СОЛДАТАМ 1941-го

Вы сделали всё, что могли.

Из песни

Когда отступает пехота,
Сраженья (на время отхода)
Ее арьергарды дают.
И гибнут хорошие кадры,
Зачисленные в арьергарды,
И песни при этом поют.

Мы пели: «Вы жертвою пали»,
И с детства нам в душу запали
Слова о борьбе роковой.
Какая она, роковая?
Такая она, таковая,
Что вряд ли вернешься живой.

Да, сделали все, что могли мы.
Кто мог, сколько мог и как мог.
И были мы солнцем палимы,
И шли мы по сотням дорог.
Да, каждый был ранен, контужен,
А каждый четвертый — убит,
И лично Отечеству нужен,
И лично не будет забыт.

ВОСПОМИНАНИЕ

Я на палубу вышел, а Волга
Бушевала, как море в грозу.
Волны бились и пели. И долго
Слушал я это пенье внизу.

Звук прекрасный, звук протяженный.
Звук печальной и чистой волны:
Так поют солдатские жены
В первый год многолетней войны.

Так поют. И действительно, тут же,
Где-то рядом, как прядь у виска,
Чей-то голос тоскует и тужит,
Песню над головой расплескав.

Шел октябрь сорок первого года.
На восток увозил пароход
Столько горя и столько народа,
Столько будущих вдов и сирот.

Я не помню, что беженка пела,
Скоро голос солдатки затих.
Да и в этой ли женщине дело?
Дело в женщинах! Только — в других.

Вы, в кого был несчастно влюбленным,
Вы, кого я счастливо любил,
В дни, когда молодым и зеленым
На окраине Харькова жил!

О девчонки из нашей школы!
Я вам шлю свой сердечный привет,
Позабудьте про факт невеселый,
Что вам тридцать и более лет.

Вам еще блистать, красоваться!
Вам еще сердца потрясать!
В оккупациях, в эвакуациях
Не поблекла ваша краса!

Не померкла, нет, не поблекла!
Безвозвратно не отошла,
Под какими дождями ни мокла,
На каком бы ветру ни была!

НОВАЯ КВАРТИРА

Я в двадцать пятый раз после войны
На новую квартиру перебрался,
Отсюда лязги буферов слышны,
Гудков пристанционных перебранка.

Я жил у зоопарка и слыхал
Орлиный клекот, лебедей плесканье.

Я в центре жил. Неоном полыхал
Центр надо мной.
                    Я слышал полосканье
В огромном горле неба. Это был
Аэродром, аэрогром и грохот.

И каждый шорох, ропот или рокот
Я записал, запомнил, не забыл.

Не выезжая, а переезжая,
Перебираясь на своих двоих,
Я постепенно кое-что постиг,
Коллег по временам опережая.

А сто или сто двадцать человек,
Квартировавших рядышком со мною,
Представили двадцатый век
Какой-то очень важной стороною.

МУЗЫЧКА

Все — не важно. Важно только,
Чтобы не стихала эта полька.
Где? В душе. Чтоб музыка звучала
Каждый день — сначала.
Музычка! Протопочи, мужичка!
Про свои привычки!
И как панна — поведи плечами
Про свои печали.
Музычка! Синкопы или такты,
Доремифасоли и ключи —
Как же, почему же так ты?
Музыка, работай, не молчи.

О КНИГЕ «ПАМЯТЬ»

Мало было строчек у меня:
Тыщи полторы. Быть может — две.
Все как есть держал я в голове.

Скоростных баллад лихой набор!
Место действия — была война.
Время действия — опять война.

В каждой — тридцать строчек про войну,
Про ранения и про бои.
Средства выражения — мои.

Говорили: непохож! Хорош —
Этого никто не говорил.
Собственную кашу я варил.

Свой рецепт, своя вода, своя крупа.
Говорили, чересчур крута.
Как грибник, свои я знал места.

Собственную жилу промывал.
Личный штамп имел. Свое клеймо.
Собственного почерка письмо.

СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ

Физики поднаторели —
Выполнили программу,
Солнечные батареи
От солнца работают прямо.

А Гезиод задолго
До современной науки
Только от солнца работал,
А также мы, его внуки.

Солнце, вёдро, счастье —
Вот источники тока,
Питающие все чаще
Поэтов нашего толка.

Но мы и от гнева — можем,
И от печали — будем.
И все-таки книги вложим
В походные сумки людям.

Мы — от льгот и от тягот
Вдоль вселенной несемся,
А батареи могут
Только от солнца.

* * *

Покуда глотка здорова
И плечи, что колокола,
Взлетают, как перепела,
Токуют, как тетерева.

Потом приходит слово «честь»,
И слово «долг», и слово «стыд».
И если что-то в сердце есть —
Читатель все грехи простит.

А если нету ничего,
Он все же для себя открыл
То токованье, шелест крыл
И то, что нету ничего.

МУЗШКОЛА ИМЕНИ БЕТХОВЕНА В ХАРЬКОВЕ

Меня оттуда выгнали за проф
Так называемую непригодность.
И все-таки не пожалею строф
И личную не пощажу я
гордость,
Чтоб этот домик маленький воспеть,
Где мне пришлось терпеть и претерпеть.
Я был бездарен, весел и умен,
И потому я знал, что я — бездарен.
О, сколько бранных прозвищ и имен
Я выслушал: ты глуп, неблагодарен,
Тебе на ухо наступил медведь.
Поешь! Тебе в чащобе бы реветь!
Ты никогда не будешь понимать
Не то что чижик-пыжик — даже
гаммы!
Я отчислялся — до прихода мамы,
Но приходила, вмешивалась мать.
Она меня за шиворот хватала
И в школу шла, размахивая мной.
И объясняла нашему кварталу:
— Да, он ленивый, да, он озорной,
Но он способный: поглядите
руки,
Какие пальцы, дециму берет.
Ты будешь пианистом.
Марш вперед! —
И я маршировал вперед.
На муки.
Я не давался музыке. Я знал,
Что музыка моя — совсем другая.

А рядом, мне совсем не помогая,
Скрипели скрипки и хирел хорал.
Так я мужал в музшколе
той вечерней,
Одолевал упорства рубежи,
Сопротивляясь музыке учебной
И повинуясь музыке души.

ЧРЕЗВЫЧАЙНОСТЬ ПОЭЗИИ

Обдумыванье и расчет
Поэзию, конечно, губят.
Она не пилит, а сечет
И не сверлит, а с маху рубит.

Я трогаю босой ногой
Прибой поэзии холодный.
А может, кто-нибудь другой —
Худой, замызганный, голодный —
С разбегу прыгнет в пенный вал,
Достигнет сразу же предела,
Где я и в мыслях не бывал.

Вот в этом, видимо, все дело.

НОВЫЕ СЛОВА

Новые слова сначала называют
Варваризмы, аббревиатуры.
Но они живут и не зевают
На околице литературы.

Новые слова, как папироски,
Изо рта не выпустит молва,
Потому что вески или броски
Новые слова.

Новые слова и в самом деле —
Новые слова.
Вы послушали бы,
Поглядели,
Сколько за день скажет их Москва.

А потом — из уст в уста кочуют,
Шелестят подобием травы,
На вокзалах, скорчившись, ночуют,
Уезжают из Москвы.

Вымывшись в морях и океанах,
Ободравши о тайгу бока,
Приплывают — в шрамах и изъянах,
Как Европа на спине быка.

А лингвисты перья очиняют,
Новые законы сочиняют.
Новые слова по тем законам
Признаются лексиконом.

* * *

Перевожу с монгольского и с польского,
С румынского перевожу и с финского,
С немецкого, но также и с ненецкого,
С грузинского, но также с осетинского.

Работаю с неслыханной охотою
Я только потому над переводами,
Что переводы кажутся пехотою,
Взрывающей валы между народами.

Перевожу смелее всё и бережней
И старый ямб, и вольный стих теперешний.
Как в Индию зерно для голодающих,
Перевожу правдивых и дерзающих.

А вы, глашатаи идей порочных,
Любой земли фразеры и лгуны,
Не суйте мне, пожалуйста, подстрочник —
Не будете вы переведены.

Пучины розни разделяют страны.
Дорога нелегка и далека.
Перевожу,
            как через океаны,
Поэзию
        в язык
                из языка.

* * *

Я перевел стихи про Ильича.
Поэт писал в Тавризе за решеткой.
А после — сдуру или сгоряча —
Судья вписал их в приговор короткий.
Я словно тряпку вынул изо рта —
Тюремный кляп, до самой глотки вбитый.
И медленно приподнялся убитый,
И вдруг заговорила немота.

Как будто губы я ему отер,
И дал воды, и на ноги поставил:
Он выбился — просветом из-под ставен,
Пробился, как из-под золы костер.
Горит, живет.
Как будто, нем и бледен, не падал он.
И я — не поднимал.
А я сначала только слово
Ленин
Во всем восточном тексте понимал.

М. В. КУЛЬЧИЦКИЙ

Одни верны России
                                   потому-то,
Другие же верны ей
                                   оттого-то,
А он — не думал, как и почему.
Она — его поденная работа.
Она — его хорошая минута.
Она была отечеством ему.

Его кормили.
                        Но кормили — плохо.
Его хвалили.
                        Но хвалили — тихо.
Ему давали славу.
                              Но едва.
Но с первого мальчишеского вздоха
До смертного
                        обдуманного
                                          крика
Поэт искал
                    не славу,
                              а слова.
Слова, слова.
                        Он знал одну награду:
В том,
            чтоб словами своего народа
Великое и новое назвать...

КАК УБИВАЛИ МОЮ БАБКУ

Как убивали мою бабку?
Мою бабку убивали так:
Утром к зданию горбанка
Подошел танк.
Сто пятьдесят евреев города,
Легкие
от годовалого голода,
Бледные
от предсмертной тоски,
Пришли туда, неся узелки.
Юные немцы и полицаи
Бодро теснили старух, стариков
И повели, котелками бряцая,
За город повели,
далеко.

А бабка, маленькая, словно атом,
Семидесятилетняя бабка моя
Крыла немцев,
Ругала матом,
Кричала немцам о том, где я.
Она кричала: — Мой внук на фронте,
Вы только посмейте,
Только троньте!
Слышите,
наша пальба слышна! —
Бабка плакала и кричала
И шла.
Опять начинала сначала
Кричать.

Из каждого окна
Шумели Ивановны и Андреевны,
Плакали Сидоровны и Петровны:
— Держись, Полина Матвеевна!
Кричи на них. Иди ровно! —
Они шумели:
— Ой, що робыть,
З отым нимцем, нашим ворогом! —
Поэтому бабку решили убить,
Пока еще проходили городом.

Пуля взметнула волоса.
Выпала седенькая коса,
И бабка наземь упала.
Так она и пропала.

* * *

О. Ф. Берггольц

Все слабели, бабы — не слабели,—
В глад и мор, войну и суховей
Молча колыхали колыбели,
Сберегая наших сыновей.

Бабы были лучше, были чище
И не предали девичьих снов
Ради хлеба, ради этой пищи,
Ради орденов или обнов,—

С женотделов и до ранней старости,
Через все страдания земли
На плечах, согбенных от усталости,
Красные косынки пронесли.

4 Б. Слуцкий

В ДЕРЕВНЕ

Очередь стоит у сельской почты —
Длинная — без краю и межей.
Это — бабы получают то, что
За убитых следует мужей.

Вот она взяла, что ей положено.
Сунула за пазуху, пошла.
Перед нею дымными порошами
Стелется земля — белым-бела.

Одинокая, словно труба
На подворье, что дотла сгорело.
Руки отвердели от труда,
Голодуха изнурила тело.

Что же ты, солдатская вдова,
Мать солдата и сестра солдата,—
Что ты шепчешь? Может быть,
слова,
Что ему шептала ты когда-то?

* * *

Николе Вапцарову

Полиция исходит из простого
И вечного. Пример: любовь к семье.
И, только опираясь на сие,
Выходит на широкие просторы.

Полиция учена и мудра.
И знает: человек — комочек праха.
И невысокий бугорок добра
Полузасыпан в нем пургою страха.

Мне кажется, что человек разбит
В полиции на клетки и участки.
Нажмут — и человека ознобит,
Еще нажмут — и сердце бьется чаще.

Я думаю, задолго до врача
И до ученых, их трактатов ранних,
Нагих и теплых по полу влача,
Все органы и члены
знал охранник.

Но прах не заметается пургой,
А лагерная пыль заносит плаху.
И человек,
не этот, так другой,
Встает превыше ужаса и страха.

* * *

В бесплацкартном, некупированном
Беспокойно спит пассажир,
Словно в городе оккупированном —
Узелок под бок подложив.

Вроде кражи почти повывелись,
Все разбойнички — заключены.
Спи и только смотри не вывались,
Пересматривай лучше сны.

Все же собранный он
                    и сведенный,
Сжатый, словно пальцы в кулак,
Спит, как будто секретные сведения
Заключает его узелок.

Освещение, отопление:
Бесплацкартный вагон — не плох.
Но остаточные явления
Предыдущих длинных эпох
Затенили ему улыбку.
Спит как будто бы на войне.
Нервно спит,
               как будто ошибку
Совершить
            боится во сне.

ПОЛИТРУК

Словно именно я был такая-то мать,
Всех всегда посылали ко мне.
Я обязан был все до конца понимать
В этой сложной и длинной войне.
То я письма писал,
То я души спасал,
То трофеи считал,
То газеты читал.

И хоть шел я назад,
Но кричал я: «Вперед!»
Очень твердо я верил: победа придет.

Не умел воевать, но умел я вставать,
Отрывать гимнастерку от глины
И солдат за собой поднимать
Ради родины и дисциплины.
Хоть ругали меня,
Но бросались за мной.
Это было
Моей персональной войной.

ОДНОФАМИЛЕЦ

В рабочем городке Солнечногорске,
В полсотне километров от Москвы,
Я подобрал песка сырого горстку —
Руками выбрал из густой травы.

А той травой могила поросла,
А та могила называлась братской.
Их много на шоссе на Ленинградском,
И на других шоссе их без числа.
Среди фамилий, врезанных в гранит,
Я отыскал свое простое имя.
Все буквы — семь, что памятник
хранит,
Предстали пред глазами пред моими.

Все буквы — семь — сходилися у нас,
И в метриках и в паспорте сходились,
И если б я лежал в земле сейчас,
Все те же семь бы надо мной
светились.

Но пули пели мимо — не попали,
Но бомбы облетели стороной,
Но бéз вести товарищи пропали,
А я вернулся. Целый и живой.

Я в жизни ни о чем таком не думал,
Я перед всеми прав, не виноват,
Но вот шоссе, и под плитой угрюмой
Лежит с моей фамилией солдат.

* * *

Тушат свет и выключают звуки.
Вся столица в сон погружена.
А ко мне протягивают руки
Сестры — Темнота и Тишина.

Спят мои товарищи по комнате,
Подложив под голову конспект —
Чтобы то, что за день не запомнили,
За ночь все же выучить успеть.

Я прижался лбом к холодной раме,
Я застыл надолго у окна:
Никого и ничего меж нами,
Сестры — Темнота и Тишина.

До Луны — и то прямая линия,—
Не сворачивая, долечу!
Сестры, Тихая и Темно-синяя,
Я стихи писать хочу!

Темнота покуда мне нужна еще:
На свету мне стыдно сочинять!
Сестры! Я студент, я начинающий,
Очень трудно рифмы подбирать.

...Вглядываюсь в темень терпеливо
И, пока глаза не заболят,
Жду концов — хороших и счастливых —
Для недавно начатых баллад.

КАК МЕНЯ НЕ ПРИНЯЛИ НА РАБОТУ

Очень долго прения длились:
Два, а может быть, три часа.
Голоса обо мне разделились.
Не сошлись на мне голоса.

Седоусая секретарша,
Лет шестидесяти и старше,
Вышла, ручками развела,
Очень ясно понять дала:

Не понравился, не показался —
В общем, не подошел, не дорос.
Я стоял, как будто касался
Не меня
весь этот вопрос.

Я сказал «спасибо» и вышел.
Даже дверью хлопать не стал.
И на улицу Горького вышел.
И почувствовал, как устал.

Так учителем географии
(Лучше в городе, можно в район)
Я не стал. И в мою биографию
Этот год иначе внесен.

Так не взяли меня на работу.
И я взял ее на себя.
Всю неволю свою, всю охоту
На хореи и ямбы рубя.

На анапесты, амфибрахии,
На свободный и белый стих.
А в учители географии
Набирают совсем других.

ДОБРО

Зло можно простить,
забыть — наплевать.
Добро — нельзя забывать.

Оно — рана. Снова откроется.
Оно — пламя. Пробьет золу.
Оно — мышь. Все время роется
В каждом твоем углу.
Ты ли,
Тебе ли
добыли счастье:
Потом не прогонишь добро со двора.

Оно все тащит, тащит в чащу.
В дебри
добра.

БОЛЬШОЙ ПОРЯДОК

Двадцать лет я жил всухомятку —
В общежитиях и на войне —
И привык к большому порядку,
Он понравился даже
мне.

Я привык, что храп соседа
Надо выслушать и пережить,
Что мечту о жизни оседлой
Надо на полужизнь отложить.

Что в бараке и что в окопе,
Несмотря на шум и на чад,
Хорошо, приятно, толково!
То, что это люди звучат.

То, что рядом едят и дышат,
Руки под головы кладут,
То, что слово твое услышат,
Руку помощи подадут.

Трудно было всем. Помогали
Все — всем. От зари до зари.
И в один котелок макали
Твердокаменные сухари.

Вместе, заодно, всем миром,
Скопом всем, колхозом всем.
Потому-то моральным жиром
Обрастать не могу совсем.

* * *

Зубов своих скрипенье
Утихомирь.
История — терпенье
Большое, как Сибирь.
Не демонстрируй страсти
И паники не сей.
Дорога к счастью
Длинней, чем Енисей.
А все же, человеки,
Дойдем,
Доплывем:
Еще в двадцатом веке
Как следует заживем.

БЕРЕЗКА В ОСВЕНЦИМЕ

Ю. Болдыреву

Березка над кирпичною стеной,
Случись,
когда придется,
надо мной!
Случись на том последнем перекрестке!
Свидетелями смерти не возьму
Платан и дуб.
И лавр мне — ни к чему.
С меня достаточно березки.

И если будет осень,
пусть листок
Спланирует па лоб горячий.
А если будет солнце,
пусть восток
Блеснет моей последнею удачей.

Все нации, которые — сюда,
Все русские, поляки и евреи
Березкой восхищаются скорее,
Чем символами быта и труда.

За высоту,
За белую кору
Тебя
последней спутницей беру.
Не примирюсь со спутницей
иною!
Березка у освенцимской стены!
Ты столько раз
в мои
врастала сны.
Случись,
когда придется,
надо мною.

* * *

Россия увеличивала нас:
ее штабы, ее масштабы,
ее поля, ее баштаны,
ее Урал, ее Кавказ.

И самые обычные слова
становятся необычайны,
когда подхватывает их Москва:
от радиовещания до чайной.

* * *

Брали на обед по три вторых,
первого ни одного не брали.
«Трали-вали»,— говорит старик,
инвалид, участник поля брани.

Смотровые ордера
получали в райсовете.
По сто граммов хлопали с утра.
Не боялись никого на свете.

Обсуждали изредка судьбу.
Смело командирам возражали.
И с большим достоинством в гробу
в выходных костюмах возлежали.

Лесорубы из Карелии,
курский соловей, псковский печник —
псы семи держав
                                        как угорелые
бегали от них.

* * *

Не отвечаем за родителей,
зато вольны в учителях.
Вольны усвоить и отвергнуть,
вольны запомнить и забыть.

Оценки те, что нам поставят,
и те, что мы поставим им —
учившим нас и научившим,
от нас зависят и от них.

ПЛАСТИНКА

Долго играет долгоиграющая,
долго, словно поездка на долгих.
Дол и гора еще.
Дол и гора еще.
Долго.

Музыка — как по ухабам и рытвинам
путь:
без края, конца, предела.
Тонким, режущим душу, бритвенным
голосом
женщина что-то пела.

Впрочем, не важно, что такое,
были бы звуки — острые, резкие.
Точное чувство непокоя
вдруг возникает в начале поездки.

Вдруг возникает и не оставляет
в медленном, словно вращенье земное,
в медленном ходе пластинки. Цепляет
что-то меня. Уходит со мною.

Музыка за руку провожает.
Словно колесами переезжает.

* * *

В маленькую киношку
Да на сеанс дневной,
Чтоб людей немножко,
Чтоб механик дрянной —

В маленькую, вставленную,
Врезанную в домок,
Чтобы картину старенькую
Я досмотреть бы мог.

Только сеанс начнется —
Сразу часы заскрипят,
Сразу стрелка качнется
Наоборот, назад.

Что же там было вначале?
Кто играл и кого?
Мы ведь — не замечали,
Не видели ничего.

Смотрится любо-дорого,
Хоть и снято давно.
Все-таки было здорово
В том, довоенном, кино.

Все-таки было славно.
Я досмотрю исправно
И с облегченной душой
Тихо пойду домой.

МАРТ

Каждый день день прибывает,
убавляется ночи тень,
словно солнышко прибивает
по минутке ко дню каждый день.

Еще птицы не запели,
но капели не утерпели
и поют, поют про свое
переливчатое житье.

Снег — небритой щеки серее,
а земля — все теплее, сырее,
а зима — совсем не зря
удирает из календаря.

Ото дней до сих пор коротких
и от палой, прелой листвы
самый первый в Москве курортник
уезжает уже из Москвы.

БОТИНКИ МАЯКОВСКОГО

Сорок седьмой номер:
огромные, как сапоги.
К ботинкам Маяковского
не подобрать ноги.

Ботинки Маяковского
носить не смог никто.
Кроме того, осталось
его пальто.

Кроме того, остался
его пример,
но больше человеческого
его размер.

В маленькой квартирке —
маленький музей:
вещи Маяковского,
книги его друзей.

Чашечки Маяковского
на полочках стоят.
Сколько меду и яду
чашечки таят?

Кроме того, ботинки,
кроме того, пальто.
Чашу Маяковского
не осушил никто.

Н. Н. АСЕЕВ ЗА РАБОТОЙ

(Очерк)

Асеев пишет совсем неплохие,
Довольно значительные статьи.
А в общем статьи — не его стихия.
Его стихия — это стихи.

С утра его мучат сто болезней.
Лекарства — что?
                    Они — пустяки!
Асеев думает: что полезней?
И вдруг решает: полезней — стихи.
И он взлетает, старый ястреб,
И боли его не томят, не злят,
И взгляд становится тихим, ясным,
Жестоким, точным — снайперский взгляд.
И словно весною — щепка на щепку —
Рифма лезет на рифму цепко.
И вдруг серебреет его пожелтелая
Семидесятилетняя седина,
И кружка поэзии, полная, целая,
Сразу выхлестывается — до дна.
И все повадки —
                    пенсионера,
И все поведение —
                    старика
Становятся поступью пионера,
Которая, как известно, легка.

И строфы равняются — рота к роте,
И свищут, словно в лесу соловьи,
И все это пишется на обороте
Отложенной почему-то статьи.

НА СМЕРТЬ АСЕЕВА

Товарищ уходит черным дымом,
А был веселым, светлым дымком,
И только после стал нелюдимым,
Серым от седины
стариком.

Товарищ уходит черной копотью.
Теперь он просто дым без огня.
И словно слышится: «Дальше
топайте.
Только, пожалуйста, без меня».
И мы отъезжаем от этого здания,
Где каждый метр посвящен судьбе,
Готовые выполнить любое задание,
Которое лично даем себе.

О Л. Н. МАРТЫНОВЕ

(Статья)

Мартынов знает,
какая погода
Сегодня
в любом уголке земли:
Там, где дождя не дождутся по году,
Там, где моря на моря стекли.

Идет Мартынов мрачнее тучи:
— ?
— Над всем Поволжьем опять — ни тучи.
Или: — В Мехико-сити мороз,
Опять бродяга в парке замерз.

Подумаешь, что̀ бродяга Гекубе?
Небо над нами все голубей.
Рядом с нами бодро воркует
Россыпь общественных голубей.

Мартынов выщурит синие, честные,
Сверхреальные свои глаза
И шепчет немногие ему известные
Мексиканские словеса.

Тонко, но крепко, как ниткой суровой,
Он связан с этой зимой суровой,
С тучей, что на Поволжье плывет,
Со всем, что на этой земле живет.

КСЕНИЯ НЕКРАСОВА

(Воспоминания)

У Малого театра, прозрачна, как тара,
Себя подставляя под струи Москвы,
Ксюша меня увидала и стала:
— Боря! Здравствуйте! Это вы?
А я-то думала, тебя убили.
А ты живой. А ты майор.
Какие вы все хорошие были.
А я вас помню всех до сих пор.

Я только вернулся после выигранной,
После великой второй мировой
И к жизни, как листик, из книги выдранный,
Липнул.
                    И был — майор.
                                                И — живой.
Я был майор и пачку тридцаток
Истратить ради встречи готов,
Ради прожитых рядом тридцатых
Тощих студенческих наших годов.
— Но я обедала,— сказала Ксения.—
Не помню что, но я сыта.
Купи мне лучше цветы
                                                синие,
Люблю смотреть на эти цветы.

Тучный Островский, поджав штиблеты,
Очистил место, где сидеть
Ее цветам синего цвета,
Ее волосам, начинавшим седеть.

И вот,
моложе дубовой рощицы,
И вот, стариннее
дубовой сохи,
Ксюша голосом
сельской пророчицы
Запричитала свои стихи.

НАЗЫМ

Словно в детстве — веселый,
Словно в юности — добрый.
Словно тачку на каторге и не толкал.
Жизнь танцует пред ним молодой Айседорой,
Босоногой плясуньей Айседорой Дункан.

Я не мало шатался по белому свету,
Но о турках сужу по Назыму Хикмету.
Я других не видал, ни единой души,
Но, по-моему, турки — они хороши!
Высоки они, голубоглазы и русы,
И в искусстве у них подходящие вкусы,
Ильича
на студенческих партах
прочли,
А в стихе
маяковские ритмы учли.

Только так и судите народ —
по поэту.
Только так и учите язык —
по стихам.
Пожелаем здоровья Назыму Хикмету,
Чтобы голос его никогда не стихал.

* * *

В эпоху такого размаха
столкновений добра и зла
несгораема только бумага.
Все другое сгорит дотла.

Только ямбы выдержат бомбы,
их пробойность и величину,
и стихи не пойдут в катакомбы,
потому что им ни к чему.

Рифмы — самые лучшие скрепы
и большую цепкость таят.
Где развалятся небоскребы,
там баллады про них устоят.

Пусть же стих подставляет голову,
потому что он мал, да удал,
под почти неминучий удар
века темного,
                века веселого.

МОИ ТОВАРИЩИ

Сгорели в танках мои товарищи —
до пепла, до золы, дотла.
Трава, полмира покрывающая,
из них, конечно, произросла.
Мои товарищи на минах
подорвались,
взлетели ввысь,
и много звезд, далеких, мирных,
из них,
моих друзей,
зажглись.
Они сияют, словно праздники,
показывают их в кино,
и однокурсники и одноклассники
стихами стали уже давно.

ПРОСЬБЫ

— Листок поминального текста!
Страничку бы в тонком журнале!
Он был из такого теста —
Ведь вы его лично знали.
Ведь вы его лично помните.
Вы, кажется, были на «ты».

Писатели ходят по комнате,
Поглаживая животы.
Они вспоминают: очи,
Блестящие из-под чуба,
И пьянки в летние ночи,
И ощущение чуда,
Когда атакою газовой
Перли на них стихи.
А я объясняю, доказываю:
Заметку б о нем. Три строки.

Писатели вышли в писатели.
А ты никуда не вышел,
Хотя в земле, в печати ли
Ты всех нас лучше и выше.
А ты никуда не вышел.
Ты просто пророс травою,
И я, как собака, вою
Над бедной твоей головою.

РЕЙД

У кавкорпуса в дальнем рейде —
ни тылов, ни перспектив.

Режьте их, стригите, брейте —
так приказывает командир.

Вот он рвется, кавалерийский
корпус —
сабель тысячи три.

Все на удали, все на риске,
на безумстве, на «черт побери!».

Вот он режет штаб дивизии
и захватывает провизию.

Вот районный город берет
и опять, по снегам, вперед!

Край передний, им разорванный,
много дней как сомкнулся за ним.

Корпусные особые органы
жгут архивы, пускают дым.

Что-то ухает, бухает глухо —
добивают выстрелом в ухо
самых лучших, любимых коней:
так верней.

Корпус, в снег утюгом вошедший,
застревает, как пуля в стене.

Он гудит заблудившимся шершнем,
обивающим крылья в окне.

Иссякает боепитание.
Ежедневное вычитание
молча делают писаря.

Корпус, словно прибой, убывает.
Убивают его, добивают,
но недаром, не так, не зазря.

Он уже свое дело сделал.
Песню он уже заслужил.
Красной пулей в теле белом
он дорогу себе проложил.

КРОПОТОВО

Кроме крыши рейхстага, брянских лесов,
севастопольской канонады,
есть фронты, не подавшие голосов.
Эти тоже выслушать надо.
Очень многие знают, где оно,
безымянное Бородино:
это — Кропотово, возле Ржева,
от дороги свернуть налево.
Там домов не более двадцати
было.
Сколько осталось — не знаю.
У советской огромной земли — в груди
то село, словно рана сквозная.
Стопроцентно выбыли политруки.
Девяносто пять — командиры.
И село (головешки да угольки)
из рук в руки переходило.
А медали за Кропотово нет? Нет.
За него не давали медали.
Я пишу, а сейчас там, конечно, рассвет
и ржаные желтые дали,
и, наверно, комбайн идет по ржи
или трактор пни корчует,
и свободно проходят все рубежи,
и не знают, не слышат, не чуют.

ГОРА

Ни тучки. С утра — погода.
И, значит, снова тревоги.
Октябрь сорок первого года.
Неспешно плывем по Волге —
Раненые, больные,
Едущие на поправку,
Кроме того, запасные,
Едущие на формировку.
Я вместе с ними еду,
Имею рану и справку,
Талоны на три обеда,
Мешок, а в мешке литровку.
Радио, черное блюдце,
Тоскливо рычит несчастья:
Опять города сдаются,
Опять отступают части.
Кровью бинты промокли,
Глотку сжимает ворот.
Все мы стихли,
                    примолкли.
Но — подплывает город.
Улицы ветром продуты,
Рельсы звенят под трамваем.
Здесь погрузим продукты.
Вот к горе подплываем.
Гора печеного хлеба
Вздымала рыжие ребра,
Тянула вершину к небу,
Глядела разумно, дòбро,
Глядела достойно, мудро,
Как будто на все отвечала.
И хмурое, зябкое утро
Тихонько ее освещало.

К ней подъезжали танки,
К ней подходила пехота,
И погружали буханки.
Целые пароходы
Брали с собой, бывало.
Гора же не убывала
И снова высила к небу
Свои пеклеванные ребра.
Без жалости и без гнева.
Спокойно. Разумно. Добро.

Покуда солдата с тыла
Ржаная гора обстала,
В нем кровь еще не остыла,
Рука его не устала.
Не быть стране под врагами,
А быть ей доброй и вольной,
Покуда пшеница с нами,
Покуда хлеба довольно,
Пока, от себя отрывая
Последние меры хлеба,
Бабы пекут караваи
И громоздят их — до неба!

ВЫСВОБОЖДЕНИЕ

За маленькие подвиги даются
медали небольшой величины.

В ушах моих разрывы отдаются.
Глаза мои пургой заметены.

Я кашу съел. Была большая миска.
Я водки выпил. Мало: сотню грамм.
Кругом зима. Шоссе идет до Минска.
Лежу и слушаю вороний грай.

Здесь в зоне автоматного огня,
когда до немца метров сто осталось,
выкапывает из меня усталость,
выскакивает робость из меня.

Высвобождает фронт от всех забот,
выталкивает маленькие беды.

Лежу в снегу, как маленький завод,
производящий скорую победу.
Теперь сниму и выколочу валенки,
поставлю к печке и часок сосну.
И будет сниться только про войну.

Сегодняшний окончен подвиг маленький.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В АЛЬПАХ

Четыре верблюда на улицах Граца!
Да как же они расстарались добраться
до Альп
из родимой Алма-Аты!
Да где же повозочных порастеряли?
А сколько они превзошли расстояний,
покуда дошли до такой высоты!

Средь западноевропейского люда
степенно проходят четыре верблюда,
худые и гордые звери идут.
А впрочем,
я никогда не поверю,
что эти верблюды действительно звери.
Достоин иного прозванья верблюд.

Дивизия шла на верблюжьей тяге:
арбы или пушки везли работяги,
двугорбые, смирные, добрые,
покорные, гордые, бодрые.

Их было, наверное, двести четыре,
а может быть, даже и триста четыре,
но всех перебили,
и только четыре
до горного города Граца дошли.
А сколько добра привезли они людям!
Об этом распространяться не будем,
но мы никогда,
никогда
не забудем
верблюдов из казахстанской земли.

В каком-то величье,
в каком-то прискорбье,
загадочно-тихие, как гороскоп,
верблюды
проходят
сквозь шум городской.
И белые Альпы видны в междугорбье.
Вдоль рельсов трамвайных проходит верблюд,
трамваи гурьбой за арбою идут.

Трамвай потревожить верблюда не смеет.
Неспешность
приходится
извинить.
Трамвай не решается позвонить.
Целая очередь грацких трамваев
стоит,
если тянется морда к кустам,
стоит,
пока по листку обрываем
возросший у рельс превосходный каштан.

Средь западноевропейского люда
степенно проходят четыре верблюда.

* * *

Слышу шелест крыл судьбы,
шелест крыл,
словно вешние сады
стелет Крым,
словно бабы бьют белье
на реке,
так судьба крылами бьет
вдалеке.

* * *

Тот возраст, когда мне пальто покупали на вырост,
прошел безвозвратно. Я рос и, по-видимому, вырос.
Тот возраст, когда не всегда допускали в кино,
прошел. Допускают давно, даже слишком давно.
Мой круг убывает. Как будто луна убывает.
Кто сам умирает, кого на войне убивают,
и в списке друзей моих те, кто навеки молчат,
куда многочисленней тех, кто шумят и кричат.
Я думаю, мне интересней и даже полезней
меж тех, кто погиб от атак, контратак и болезней
и памяти точной и цепкой на долю достался,
меж тех, кого нет, а совсем не меж тех, кто остался.
Моя терпеливость. Моя неторопливость
похожа на их справедливость, на их молчаливость.

* * *

А я не отвернулся от народа,
С которым вместе
голодал и стыл.
Ругал баланду,
Обсуждал природу,
Хвалил
далекий, словно звезды,
тыл.

Когда
годами делишь котелок
И вытираешь, а не моешь ложку —
Не помнишь про обиды.
Я бы мог.
А вот — не вспомню.
Даже так, немножко.

Не льстить ему,
Не ползать перед ним!
Я — часть его.
Он — больше, а не выше.
Я из него действительно не вышел.
Вошел в него —
И стал ему родным.

* * *

Интеллигенция была моим народом,
была моей, какой бы ни была,
а также классом, племенем и родом —
избой! Четыре все ее угла.

Я радостно читал и конспектировал,
я верил больше сложным, чем простым,
я каждый свой поступок корректировал
Львом чувства — Николаичем Толстым.

Работа чтения и труд писания
была святей Священного писания,
а день, когда я книги не прочел,
как тень от дыма, попусту прошел.

Я чтил усилья токаря и пекаря,
шлифующих металл и минерал,
но уровень свободы измерял
зарплатою библиотекаря.

Те земли для поэта хороши,
где — пусть экономически нелепо —
но книги продаются за гроши,
дешевле табака и хлеба.

А если я в разоре и распыле
не сник, а в подлинную правду вник,
я эту правду вычитал из книг:
и, видно, книги правильные были!

УВАЖЕНИЕ

— С уважением! —
Какие люди
мне подписывали! — Приношу на суд
эту книгу.

Яблочком на блюде
уважение не поднесут.
Жизнь, среди сражавших и сражаемых,
скудно и ответственно я жил.
Уважение
мною уважаемых
я заслуживал и заслужил.

* * *

Где-то струсил. Когда — не помню.
Этот случай во мне живет.
А в Японии, на Ниппоне,
В этом случае бьют в живот.

Бьют в себя мечами короткими,
Проявляя покорность судьбе,
Не прощают, что были робкими,
Никому. Даже себе.

Где-то струсил. И этот случай,
Как его там ни назови,
Солью самою злой, колючей
Оседает в твоей крови.

Солит мысли твои, поступки,
Вместе, рядом ест и пьет,
И подрагивает, и постукивает,
И покоя тебе не дает.

СЧАСТЬЕ

Повезло мне, счастье привалило.
Словно небо в щелку равелина,
повалило счастье на меня.

Навалило счастья, словно снега
после ночи, двух ночей пурги.

Завалило счастьем, как породой
в старой шахте.

Обваляло счастьем, как мукой.

Дурака со мной сваляло счастье.
Лучше не играло бы со мной!

* * *

Скамейка на десятом этаже,
к тебе я докарабкался уже,
домучился, дополз, дозадохнулся,
до дна черпнул, до дыр себя сносил,
не пожалел ни времени, ни сил,
но дотянулся, даже прикоснулся.

Я отдохну. Я вниз и вверх взгляну,
Я посижу и что-нибудь увижу.
Я посижу, потом рукой махну —
тихонько покарабкаюсь повыше.
Подъем жесток, словно дурная весть,
и снова в сердце рвется каждый атом,
но, говорят, на этаже двадцатом
такая же скамейка есть.

* * *

Образовался недосып.
По часу, по два собери:
за жизнь выходит года три.
Но скуки не было.

Образовался недоед
из масел, мяс и сахаров.
Сочтешь и сложишь — будь здоров!
Но скуки не было.

Образовался недобор:
науки я не доучил
и счастья недополучил.
Но скуки не было.

Как будто всю ее смели,
как листья в парке в ноябре,
и на безлюдье, на заре,
собрали в кучу и сожгли,
чтоб скуки не было.

* * *

На стремительном перегоне
спрыгну с поезда, и в вагоне
досчитаются: нет одного,
но подумают: ничего.
Спрыгну с поезда. Лесом. Пехом.
Буреломом, переполохом
проторю к нежилому жилью
незаметную тропку свою.
Там широкая русская печка
и забытая кем-то свечка,
а к стене прибит календарь,
что показывал время встарь.
Слева, справа, спереди, сзади
тишина держит дом в осаде.
По-над домом дымит тишина,
и под домом зарыта она.
Там, в тиши, спокойно додумаю
свою самую главную думу я,
свежим воздухом подышу,
книгу главную напишу.

* * *

Мне кажется, когда протянут шнур,
веревку,
                злых от добрых отсекая,
моя судьба, такая и сякая,
она не к злым, а к добрым попадет.

Моя струя, струись не иссякая,
моя река, теки не высыхая,
покуда зло последнее падет.

ПРОВОДА

Уже в пейзаж вписались провода,
Особенно,
когда прогнуты снегом,
С их телеграммным кличем, плачем,
смехом,
Переполохом, окриком, успехом
И, как по Волге,
только с большим спехом,
По ним текут и радость и беда.

Воображеньем не вообразишь
То затяжное лихо, глушь и тишь,
Что прежде так легко воображались.
Они сегодня не рождают жалость.

Над ними тонкой струйкой провода —
Для сообщений, жалоб, ликований.
Вся глушь и тишь,
все лихо и беда
По проводам текут из глухомани.

УЧИЛКА

Училка бьет чернилку
Пером рондо,
Запахивая зябко
Полупальто.

Училка сто контрольных
Прочесть должна.
Она недосыпает:
Худа, бледна.

Училка, улыбаясь,
Глядит в тетрадь:
Ее любимых мыслей
Бушует рать.

Они вошли в сознанье
Ее ребят.
Сейчас перед глазами
Они рябят:

Свобода, Отечество
И Красота с Добром.
Училка бьет в чернилку
Своим пером.

НА ВЫСТАВКЕ ДЕТСКИХ РИСУНКОВ

Откроются двери, и сразу
Врываешься
                    в град мастеров,
Врываешься в царствие глаза,
Глядящего из-под вихров.
Глаз видит
                    и пишет, как видит,
А если не выйдет — порвет.
А если удастся и выйдет —
На выставку тут же пошлет.
Там все, что открыто Парижем
За сотню последних годов,
Известно белесым и рыжим
Ребятам
                    из детских садов.
Там тайная страсть к зоопарку,
К футболу
                    открытая страсть
Написаны пылко и жарко,
Проявлены
                    с толком
                                        и всласть.
Правдиво рисуется праздник:
Столица
                    и спутник над ней.
И много хороших и разных,
Зеленых и красных огней.
Правдиво рисуются войны:
Две бомбы
                    и город кривой.

А что, разве двух не довольно?
Довольно, и хватит с лихвой.
Чтоб снова вот эдак чудесить,
Желания большего нет —
Меняю
              на трижды по десять
Все тридцать пережитых лет.

ХОРОШЕЕ ЗРЕНИЕ

Сердце барахлило, а в плечах
Мучились осколки.
Память выметало из подкорки,
Пропадал, томился я и чах.

Впрочем, как ни нарастало трение
В механизме, с шествием годов —
Никогда не подводило зрение:
Видеть был всегда готов.

Изумлялись лучшие врачи.
Говорили: всё лечи,
Кроме глаз, глаза, как телескопы,
Видят хорошо и далеко.
Зрение поставлено толково,
Прямо в корень смотришь, глубоко.

Слуху никогда не доверял,
Обонянию не верил,
Осязаньем не злоупотреблял:
На глазок судил, рядил и мерил.

Ежели увижу — опишу
То, что вижу, так, как вижу.
То, что не увижу,— опущу.
Домалевыванья ненавижу.
Прожил жизнь. Образовался этакий
Впечатлений зрительных
навал.
Всю свою нехитрую эстетику
Я на том навале основал.

РАСПРЯМЛЕНИЕ

Заваленный старой бумагой,
Заложенный тонкой закладкой
В какую-то толстую книгу
И там проживавший украдкой,
Как английский бомбардировщик,
Уже в чертежах
устаревший,
Затоптанный, как подорожник,
Как древний папирус — истлевший,—

Я вдруг надуваюсь, как парус,
Я вдруг, как тростник, распрямляюсь,
И с каждой великой задачей
Я в полном объеме справляюсь.

А книги — совсем не помеха.
А книги — скорее помога.
И мне не до желчного смеха.
И вновь — предо мною дорога.

* * *

Как важно дерево в окне:
не дом, не столб, а ствол древесный
и синий дальний свод небесный —
пусть хоть клочком синеет мне.

Как хороша в окне звезда.
Пусть хоть одна звезда, большая,—
и прочь уходят города,
ее пространствам не мешая.

Бывает, молния сверкнет,
перечеркнет квадрат оконный,
и гром, как взрыв мильонотонный,
войну и молодость вернет.

Бывает, смерть прильнет к стеклу,
закат окно окрасит красным.
Неописуемо прекрасно
и просто так —
глядеть во мглу.

* * *

Охватывало странное веселье,
как будто бы опять на новоселье —
в теплушку, а потом — в окоп, в блиндаж.
Охватывал какой-то странный раж.

Охватывала молодость. Вторая.
Когда горю и знаю, что сгораю.
Последняя. Ведь третья — это смерть.
Хотелось снова пробовать и сметь.

* * *

Я зайду к соседу, в ночь соседа,
в маету соседскую зайду,
в горести соседские — заеду,
в недобро соседа — забреду.

По-соседски спрашивать не стану.
Знаю все и так.
Посижу. Компанию составлю.
Проиграю в дураки пятак.

Надо все же иногда соваться
и в чужие, не свои дела.
Вижу: начал интересоваться,
прояснились линии чела.

Вышедший из сутолоки, сумятицы,
из несчастья вышедший
опять
осторожно, боязливо пятится,
поворачивает вспять.

* * *

Не забывай незабываемого,
пускай давно быльем заваленного,
но все же, несомненно, бывшего,
с тобою евшего и пившего
и здесь же, за стеною, спавшего
и только после запропавшего:
не забывай!

* * *

Если я из ватника вылез
И костюм завел выходной,
Значит, общий уровень вырос
Приблизительно вместе со мной.

Не желаю в беде или в счастье,
Не хочу ни в еде, ни в труде
Забирать сверх положенной части
Никогда. Никак. Нигде.

Никогда по уму и по стати
Не смогу обогнать весь народ.
Не хочу обгонять по зарплате,
Вылезать по доходам вперед.

Словно старый консерв из запаса,
Запасенный для фронтовиков,
Я от всех передряг упасся —
Только чуть заржавел с боков.

Вот иду я — сорокалетний,
Средний, может быть, нижесредний
По своей, так сказать, красе.
— Кто тут крайний?
— Кто тут последний?
Я желаю стоять, как все.

ВОЗРАСТ АВИАЦИИ

Излет говорят, где бы прежде сказали — закат.
Уже авиации лет пятьдесят — шестьдесят.
Уже излеталось пять-шесть поколений пилотов,
и мы наблюдали такую же цифру излетов.

Излет в авиации — пенсия и мундир,
и на небо смотришь сквозь мелкую сетку гардин,
и пишешь статейки в журнал «Авиация
и космонавтика»
с таинственной подписью «Мнение практика».

Меня занимает излет нелетающих тел.
Столетья с доктринами я рассмотреть бы хотел.
Закаты миров, а не просто закаты светил —
все это бы я осветил, охватил.

Меня занимает, как старятся, как устают,
без боя большие губернии как отдают.

Я интересуюсь падением, но не звезды,
а, скажем, философа Сковороды.
Поскольку не падал сей добрый и смирный
философ,
я интересуюсь десятком подобных вопросов.

Я к возрасту авиации скоропостижно лечу.
Озлобиться я не хочу. Сдаться я не хочу.
Хочу излетаться,— не так, как эпохи. Как пули,
которых с пути никакие ветра не свернули.

Лететь до конца по почти что прямой кривой
и врыться в песок, без претензий, что я, мол, еще
живой.

ВСЕ УСЛОВИЯ

Как свои почти два метра
сознают,
копая окоп,
быстро пряча лицо от ветра
пулеметного,
ах, ему чтоб!

Как свои четыре с полтиной
пуда
чувствуют на мостке,
на тончайшей, на паутинной,
через пропасть идущей доске,—

свой избыток, как недостаток,
свою силу, как слабость свою,
я в эпоху ракет хвостатых
понимаю, осознаю.

Для того чтобы продержаться,
надо сжаться, надо вжаться
и на уровне нулевом
устоять на ветру пулевом.

Нивелируя спуски, взлеты,
успокаивая сердца гуд,
пулеметы и самолеты
под нулевку бреют, стригут.

Несмотря и невзирая,
не учитывая
рост и объем,

высовываемся,
                презирая
всю цифирь,
                над огнем встаем.

А пока головы не высунем —
ничего не откроем, не выдумаем.
Пули только что запоют,—
все условия создают.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ

Первый день войны. Судьба народа
выступает в виде первой сводки.
Личная моя судьба — повестка
очереди ждет в военкомате.
На вокзал идет за ротой рота.
Сокращается продажа водки.
Окончательно, и зло, и веско
громыхают формулы команд.

К вечеру ближайший ход событий
ясен для пророка и старухи,
в комнате своей, в засохшем быте,
судорожно заламывающей руки:
пятеро сынов, а внуков восемь.
Ей, старухе, ясно. Нам — не очень.
Времени для осмысленья просим,
что-то неуверенно пророчим.

Ночь. В Москве учебная тревога,
и старуха призывает бога,
как зовут соседа на бандита:
яростно, немедленно, сердито.
Мы сидим в огромнейшем подвале
елисеевского магазина.
По тревоге нас сюда созвали.
С потолка свисает осетрина.

Пятеро сынов, а внуков восемь
получили в этот день повестки,
и старуха призывает бога,
убеждает бога зло и веско.

Вскоре объявляется: тревога —
ложная, готовности проверка,
и старуха, призывая бога,
возвращается в свою каморку.

Днем в военкомате побывали,
записались в добровольцы скопом.
Что-то кончилось.
У нас — на время.
У старухи — навсегда, навеки.

СБРАСЫВАЯ СИЛУ СТРАХА

Силу тяготения земли
первыми открыли пехотинцы,—
поняли, нашли, изобрели,
а Ньютон позднее подкатился.

Как он мог, оторванный от практики,
кабинетный деятель, понять
первое из требований тактики:
что солдата надобно поднять.

Что солдат, который страхом мается,
ужасом, как будто животом,
в землю всей душой своей вжимается,
должен всей душой забыть о том.

Должен эту силу, силу страха,
ту, что силы все его берет,
сбросить, словно грязную рубаху.
Встать.
Вскричать «ура».
Шагнуть вперед.

НАДО, ЗНАЧИТ, НАДО

Стокилометровый переход.
Батальон плывет, как пароход,
через снега талого глубины.
Не успели выдать нам сапог.
В валенках же до костей промок
батальон и до гемоглобина.

Мы вторые сутки на ходу.
День второй через свою беду
хлюпаем и в талый снег ступаем.
Велено одну дыру заткнуть.
Как заткнем — позволят отдохнуть.
Мы вторые сутки наступаем.

Хлюпает однообразный хлюп.
То и дело кто-нибудь как труп
падает в снега и встать не хочет.
И немедля Выставкин над ним,
выдохшимся,
над еще одним
вымотавшимся
яростно хлопочет.
— Встать! (Молчание.) — Вставай!
(Молчок.)
— Ведь застынешь! (И — прикладом в бок.)
— Встань! (Опять прикладом.) Сучье семя! —
И потом простуженный ответ:
— Силы нет!
— Мочи нет.

— Встань!
— Отстань! —
Нет, встал. Побрел со всеми.

Я все аргументы исчерпал.
Я обезголосел, ночь не спал.
Я б не смог при помощи приклада.
Выставкин, сердитый старшина,
лучше понимает, что война —
это значит: надо, значит, надо.

ПОЛНЫЙ ПОВОРОТ ДИВИЗИИ

Дивизия на сто восемьдесят
градусов поворачивается.
Меняются местами
ее тылы и фронты.
Земля и та с меньшим скрипом,
наверное, оборачивается,
катаясь по бесконечности,
среди родной пустоты.

Меняются огневые
позиции — все до одной.
Копаются километры
окопов полного профиля.
Тылы поворачиваются
фронтовой стороной,
живут в пулеметных точках,
что пулеметчики бросили.

Поворот дивизии
похож на переворот
в средних размеров державе.
Водки и провизии
нужно невпроворот,
чтоб его поддержали.
Плечи нужны,
чтоб тела пулеметов носить.
Речи нужны,
чтоб тяготы лучше сносить.

Сердечники марширують,
хватаются за сердца.
Над ними скворцы озоруют,
мотаются без конца.

Все, у кого имеются,
смотрят на часы:
на поворот положены
считанные часы.

К семи ноль-ноль утра,
за шестьдесят минут до срока,
командир дивизии
докладывает в корпус
Первому:
«Алексей Сергеич!
Повернулись.
Пускай теперь лезут,
У меня всё».

СУДЬБА ДЕТСКИХ ВОЗДУШНЫХ ШАРОВ

Если срываются с ниток шары,
то ли
от дикой июльской жары,
то ли
от качества ниток плохого,
то ли
от
вдаль устремленья лихого,—
все они в тучах не пропадут,
даже когда в облаках пропадают,
лопнуть — не лопнут,
не вовсе растают.
Все они
к летчикам мертвым придут.

Летчикам наших воздушных флотов,
испепеленным,
сожженным,
спаленным,
детские шарики вместо цветов.
Там, в небесах, собирается пленум,
форум,
симпозиум
разных цветов.
Разных раскрасок и разных сортов.

Там получают летнабы шары,
и бортрадисты,
и бортмеханики:

все, кто разбился,
все, кто без паники
переселился в иные миры.

Все получают по детскому шару,
с ниткой
оборванною
при нем:
все, кто не вышел тогда из пожара,
все, кто ушел,
полыхая огнем.

СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ

С первой попытки брал барьер,
прыгал с места, а не с разгона,
дерзкий, сторожкий, как дипкурьер
в купе трансбалканского вагона.

В звонкую форму свою влитой,
в памяти он выступает снова:
шел, будто чувствовал под пятой
выпуклость, круглость шара земного.

Поворачивался и трещал
новыми кожаными ремнями,
взглядом миры и миры обещал,
мы на него себя равняли.

Где-то меж старой и новой границей
горсточка праха его хранится.
Там он убит и в глину зарыт
и торопливо оплакан навзрыд.

РОВНО НЕДЕЛЯ ДО ПОБЕДЫ

А что такое полная свобода?
Не тайная, а явная?
Когда
отбита беда?
Забыта забота?

Я не спешу. Как царственно я медлю!
Какую джип даст по асфальту петлю
у замка на ладони, на виду!
Проеду — головой не поведу.

А изо всех бойниц наведены
эсэсовские пулеметы.
Но месяц май,
и до конца войны
неделя!
И я полной полн свободы.

Шофера не гоню, не тороплю
и ускорения не потерплю.
— Не торопитесь,— говорю шоферу.—
Не выстрелят!
Теперь им не посметь! —
Я говорю и чувствую, как смерть
отпрянула. Воротится не скоро.

Блистает солнце на альпийских видах,
и месяц май.
В Берлине Гитлер сдох.
Я делаю свободы полный вдох.
Еще не скоро делать полный выдох.

«ЕСТЬ!»

Я не раз, и не два, и не двадцать
слышал, как посылают на смерть,
слышал, как на приказ собираться
отвечают коротеньким «Есть!».

«Есть!» — в ушах односложно звучало,
долгим эхом звучало в ушах,
подводило черту и кончало:
человек делал шаг.

Но ни разу про Долг и про Веру,
про Отечество, Совесть и Честь
ни солдаты и ни офицеры
не добавили к этому «Есть!».

С неболтливым сознанием долга,
молча помня Отчизну свою,
жили славно, счастливо и долго
или вмиг погибали в бою.

В ПЕРВОЕ УТРО ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Люди бреются после войны,
заточив поострее бритвы,
после
не сраженья,
не битвы —
после многих годов войны.

Люди баньку уже истопили,
но сперва побриться должны.
Щеку языком
оттопыря,
люди бреются после войны.

За собою не числю вины.
Если все же
ошибся, сбился,
попрошу запомнить:
я брился
на войне
в день после войны.

ВЫБОР

Выбираешь, за кем на край света,
чья верней, справедливей стезя,
не затем, что не знаешь ответа,
а затем, что иначе нельзя.

Выбираешь, не требуя выгод,
не желая удобств или льгот,
словно ищешь единственный выход,
как находишь единственный вход.

Выбираешь, а выбор задолго
сделан, так же и найден ответ —
смутной, темной потребностью долга,
ясной, как ежедневный рассвет.

С той поры, как согрела планету
совесть
и осветила мораль,
никакого выбора нету.
Выбирающий не выбирал.

Он прислушивался и — решался,
долей именовал и судьбой.
Сам собой этот выбор свершался.
Слышишь, как?
Только так.
Сам собой.

* * *

Поэзия — обгон, но не товарищей,
а времени, и, значит, напряжение,
все провода со всех столбов срывающее,
и с ног до головы — вооружение.

Маршал Толбухин одевал бойцов
в пуленепробиваемые латы.
А вы что думали?
А для баллады
не то ли требуется
в конце концов?

ЧАЕВЫЕ

Получаю всю жизнь зарплату,
заработанное, зажитое.
Чаевых же не брал ни разу.

Если заработаю больше,
за работу больше заплатят.
Ни к чему мне чаевые.

Научился и чай и сахар
на свои покупать, на кровные,
и без чаевых обходиться.

А когда не умел заработать
ни на чай, ни на сахар,
я без чаю сидел и без сахару,
но не брал чаевые.

* * *

Руки опускаются по швам.
После просто руки опускаются,
и начальство во всю прыть пускается
выдавать положенное вам.

Не было особенного проку
ни со страху, ни с упреку.
И со штрафу было меньше толку,
чем, к примеру, с осознанья долга,
чем, к примеру, с личного примера
и с наглядного показа.
Смелости и подражают смело,
и таким приказам нет отказа.

* * *

Хорошо ушел. Не оглянулся.
Даже головы не повернул.
Нет, не посмотрел, не обернулся,
словно молния сверкнул.

Сто часов теорию отхода
слушает в училищах пехота.
Ну, а как отчаливать простым
людям, в пиджаках, не в гимнастерках,
так, чтоб след действительно простыл,
но чтобы, немея от восторга,
помнили!
Он — знал. Он — понимал.
Шапки не снимал.
Не махал рукой, не улыбался.
Ни минуточки не колебался.
Просто: повернулся и ушел.

ТЕРПЕНЬЕ

Привычка привыкать,
терпеть терпенье,
терпеть, как за стеной
соседа терпим пенье,
терпеть, как терпим чад,
столовский запах тошный.

Стерпеть, смолчать,
конечно, можно.
Когда это войдет
в твои глубины
и в кровь твою войдет
вплоть до гемоглобина
и закипать душа
в ответ не станет,
привычка не спеша
натурой станет.

ДОБРОЕ СЛОВО

От слова незлого,
от доброго слова,
развеялось горе,
словно полова,
а слово-то было в два слога всего,
в два слога коротких, и кротких, и кратких,
и вдруг доброта воспиталась на грядках,
взошла среди зла и несчастья всего.

Надежней и крепче не надо заслона.
От острого счастья я млел и шалел.
А все потому,
что кто-то два слова,
а в каждом два слога,
не пожалел.

ПОЛЬЗА ПРИВЫЧЕК

Привычки необходимы —
домашняя мебель чувств,
домашние туфли страстей,
разношенные, незамечаемые.
По рельсам этих привычек
веселым трамваем мчусь —
вперед по привычным рельсам
в привычное незнаемое.

Привычка как электричка —
по расписанию ходит.
Привычка словно спичка —
зажжется почти всегда.
В этой привычке к привычке
спасение находят,
поскольку привычное горе
уже почти не беда.

* * *

Эта женщина молода. Просто она постарела.
Эта женщина хороша. Только выглядит плохо.
Этой женщине тридцать лет. То есть тридцать
до старости.
Все еще впереди. Нет почти ничего позади.
Воспоминания, изнемогающие от усталости,
не увяжутся с ней. Им, наверное, не по пути.

Ей путевку достать, нос припудрить и губы
подмазать,
за ночь выспаться, утром на правую ногу встать —
и Ромео опять на балкон ее примется лазать,
и звезда ее снова возьмется блистать.

Сбилась с шагу какой-то невидимой роты красавиц,
но она поднажмет или сообразит,
снова в ногу пойдет, земли почти не касаясь,
потрясет, изумит, поразит.

Три попытки — как в спорте — и ей полагаются.
Остается еще одна.

Здравствуй, умница!
Будь же счастливой, красавица!
Все наладится.
Пей до дна.

ПОЛОСА НЕУДАЧ

Начинается полоса неудач.
Мелких? Как вам сказать?! Не слишком.
Привыкаешь к невеселым мыслишкам,
характерным для полосы неудач.

Все везло, а вывезло не туда.
Получалось, а не получилось.
Горе что́? Не беда? Оказалось — беда.
Так уж выпало, вышло, случилось.

Полоса неудач как лесополоса
или хор, где одна за другою
неудачи пробуют голоса,
ни на миг не дают покою.

Полоса неудач как газетная
полоса сорок первого года:
на плохие вести усердная,
а хорошим вестям — нет ходу.

Полоса неудач как дождь — обложной,
затяжной, на всю ночь и дольше.
Он то хлещет, то плещет, то льет надо мной,
затяжной, бесконечный дождик.

Набираюсь терпенья на всю полосу —
я с запасом его набираю,
положу поудобнее крест и несу,
плечи — все до крови стираю.

Даже если плечи протру до костей,
все равно до хороших дойду новостей.

ПОСЛЕДНЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Татьяне Дашковской

Выходит на сцену последнее из поколений войны —
зачатые второпях и доношенные в отчаянии,
Незнамовы и Непомнящие, невесть чьи сыны,
Безродные и Беспрозванные, Непрошеные и Случайные.

Их одинокие матери, их матери-одиночки
сполна оплатили свои счастливые ночки,
недополучили счастья, переполучили беду,
а нынче их взрослые дети уже у всех на виду.

Выходят на сцену не те, кто стрелял и гранаты бросал,
не те, кого в школах изгрызла бескормица гробовая,
а те, кто в ожесточении пустые груди сосал,
молекулы молока оттуда не добывая.

Войны у них в памяти нету, война у них только в крови,
в глубинах гемоглобинных, в составе костей нетвердых.
Их вытолкнули на свет божий, скомандовали: живи!
В сорок втором, в сорок третьем и даже в сорок четвертом.

Они собираются ныне дополучить сполна
все то, что им при рождении недодала война.
Они ничего не помнят, но чувствуют недодачу.
Они ничего не знают, но чувствуют недобор.
Поэтому все им нужно: знание, правда, удача.
Поэтому жёсток и краток отрывистый разговор.

* * *

Электричка — символ, знак
бытия. Недальняя дорога.
Потому-то и удобств немного,
мало благ.

В тесноте, в обиде:
шапку потеряешь — не найти.
Все же в самом лучшем виде
доезжаем до конца пути.

Бестолочь — не дай бог никому,
толкотня и смута.
С сожаленьем почему-то
выхожу из электрички в тьму.

* * *

Нет, не телефонный — колокольный
звон
сопровождал меня
в многосуточной отлучке самовольной
из обычной злобы дня.

Был я ловким, молодым и сильным.
Шел я — только напролом.
Ангельским, а не автомобильным
сшибло, видимо, меня крылом.

ИСПАНЦЫ В ИЗГНАНИИ

По мартовскому гололеду,
топча пропесоченный лед,
сторожко, готовый к полету,
угрюмый испанец идет.

Проходит неслышною тенью
давнишних тридцатых годов,
сторожко, готовый к паденью
на желтые льды городов.

Он, словно бы к солнцу подсолнух,
к Испании весь обращен.
О ней вспоминает спросонок
и с ней же свергается в сон.

Болезненно-бледная смуглость
никак не сползает со щек.
Горючая, жалкая мудрость
в глазах не потухла еще.

Он ловит, как будто антенна,
незначащее ничего.
Простуда, наверно, ангина,
лет тридцать как мучит его.

* * *

Слеза состоит из воды и горя:
атом горя на атом воды.
Слеза состоит из воды и беды
и потому солона, как море.

Кораблекрушение есть в слезах
и все крушения и сокрушения.
Они безвыходны, как окружение.
Им надо вытечь.

Зато, когда они пройдут,
с ними пройдут и беды и воды,
и станет душа тише завода
в праздник.

ПЕРЕПОХОРОНЫ ХЛЕБНИКОВА

Перепохороны Хлебникова:
стынь, ледынь и холодынь.
Кроме нас, немногих, нет никого.
Холодынь, ледынь и стынь.

С головами непокрытыми
мы склонились над разрытыми
двумя метрами земли:
мы для этого пришли.

Бывший гений, бывший леший,
бывший демон, бывший бог,
Хлебников, давно истлевший:
праха малый колобок.

Вырыли из Новгородщины,
привезли зарыть в Москву.
Перепохороны проще,
чем во сне, здесь, наяву.

Кучка малая людей
зябко жмется к праха кучке,
а январь знобит, злодей:
отмораживает ручки.

Здесь немногие читатели
всех его немногих книг,
трогательные почитатели,
разобравшиеся в них.

Прежде чем его зарыть,
будем речи говорить
и, покуда не зароем,
непокрытых не покроем
ознобившихся голов:

лысины свои, седины
не покроет ни единый
из собравшихся орлов.

Жмутся старые орлы,
лапками перебирают,
а пока звучат хвалы,
холодынь распробирает.

Сколько зверствовать зиме!
Стой, мгновенье, на мгновенье!
У меня обыкновенье
все фиксировать в уме:

Новодевичье и уши,
красно-синие от стужи,
речи и букетик роз
и мороз, мороз, мороз!

Нет, покуда я живу,
сколько жить еще ни буду,
возвращения в Москву
Хлебникова
                не забуду:
праха — в землю,
звука — в речь.

Буду в памяти беречь.

ПОЭТ

Очень сбивчив.
Очень забывчив.
Некрасивую голову сбычив,
обижается и смолкает
и, как черный сухарь, намокает
чаем дум своих невеселых.

Тих, задумчив, печален, грустен,
в дружбе — вял,
в общении — труден.
Каждый звук с каким-то хрустом
у него вылетает из глотки.

Что-то копит он и лелеет.
Искра в нем какая-то тлеет.
Накаляется он и злеет.
Скоро скажет.
Скоро скажет то самое слово,
что в пылу вдохновенья злого
собирал по буквам.

Для того на всем экономил,
чтобы выйти со словом новым.
Вот свинтил его или вырастил —
что-то им осветил и выразил.
Он теперь подобреет.

* * *

Которые историю творят,
они потом об этом не читают
и подвигом особым не считают,
а просто иногда поговорят.

Которые историю творят,
лишь изредка заглядывают в книги
про времена, про тернии, про сдвиги,
а просто иногда поговорят.

История, как речка через сеть,
прошла сквозь них. А что застряло?
Шрамы.
Свинца немногочисленные граммы.
Рубцы инфарктов и морщинок сечь.

История калится, словно в тигле,
и важно слушает пивной притихший зал:
«Я был. Я видел. (Редко: «Я сказал».)
Мы это совершили. Мы достигли».

* * *

Не обходи необходимости,
ведь все равно не обойти.
Поэтому мосты мости.
Тори пути.
Проламывайся, прорубайся
к тому, что впереди,
а обойти и не старайся.
Ведь все равно не обойти.

ПРИВЯЗЧИВАЯ МЕЛОДИЯ

Глухая музыка, затертая стеной,
сочащаяся, словно кровь сквозь марлю,
как рыженький котенок малый,
увязывается вслед за мной.

Что требуется музыке глухой,
невзрачной песне
от меня? Немного.
Молчания почти немого —
учитывается слух плохой,—

а также подчинения всего:
походки, ритма и существованья —
ее знахарству, чарам, волхвованью,
владычеству.

А больше ничего.

ПОЦЕЛУЙ В ТЕМНОТЕ

Поцелуй в темноте. Часы
остановлены. Звезды — выключены.
Все страдания мира — вылечены.
Все стремления мира — чисты.

И покуда он длится, длится
поцелуй во тьме, во тьме,
темным снегом на светлые лица
сыплет,
          как подобает зиме.

Тает снег от тихой горячности,
заливая свидания те,
и восходит в вечерней мрачности
светлый
          поцелуй
                    в темноте.

РЕШЕНИЕ

Накануне все не слава богу.
График подготовки сбит и смят.
Путники не собрались в дорогу.
Оси и подшипники горят.

С маху подготовку обрываю:
выступим ни свет и ни заря,
и сегодня, загодя, срываю
завтрашний листок календаря.

О БОРЬБЕ С ШУМОМ

Надо привыкнуть к музыке за стеной,
к музыке под ногами,
к музыке над головами.
Это хочешь не хочешь, но пребудет со мной,
с нами, с вами.

Запах двадцатого века — звук.
Каждый миг старается, если не вскрикнуть —
скрипнуть.
Остается одно из двух —
привыкнуть или погибнуть.

И привыкает, кто может,
и погибает, кто
не может, не хочет, не терпит, не выносит,
кто каждый звук надкусит, поматросит и бросит.
Он и погибнет зато.

Привыкли же, притерпелись к скрипу земной оси!
Звездное передвижение нас по ночам не будит!
А тишины не проси.
Ее не будет.

ПРОЗВИЩЕ САМОЛЕТА

Прост в управлении,
неприхотлив в эксплуатации,
и поэтому его называли «умница».

Оказывается, умница —
это тот,
кто прост в управлении,
неприхотлив в эксплуатации.

Интересно поглядеть на умника,
выдумавшего это определение.

Интересно,
            прост ли он в управлении?
Неприхотлив ли в эксплуатации?

МОЛОДЯТА

Я был молод в конце войны,
но намного меня моложе
были те, кто рождены
на пять, на шесть, на семь лет позже.

Мне казалось: на шестьдесят.
Мне казалось: на полстолетья
пережившие лихолетье,
старше мы вот тех, молодят.

Мне казалось, что как в штабах,
как в армейских отделах кадров —
месяц за год — и все! Табак!
Крышка! Кончено! Бью вашу карту!

Между тем они подросли,
преимуществ моих не признали,
доросли и переросли
и догнали и перегнали.

Оказалось: у них дела.
Оказалось: у них задачи,
достиженья, победы, удачи,
а война была — и прошла.

СОЛОВЬЕВ С КЛЮЧЕВСКИМ

Бесконечный и мощный, великий туннель,
потрясающий длительностью и объемом,
и его бесконечность, громадность теней
освещают Ключевский вдвоем с Соловьевым.

В ту эпоху и пору поповичи шли на рожон
и светили, покуда горели.
Эти двое, напротив, любили холодный резон,
аргументы, и доводы, и достижимые цели.

Призывался попович к царевичу — в Зимний дворец,
обучить на царя, разъяснить и проблемы и факты,
но не думал при этом, что он демиург и творец,
думал: может быть, что-нибудь сделаю как-то.

У последних Романовых были тупые мозги —
непокладисты, высокомерны, строптивы.
Возвращаясь с урока, не видел попович ни зги,
никакой перспективы.

Нет, империи не собирались пересоздавать!
Собирались с утра и до ночи трудиться
и
по то́му раз в год
бесконечный сей труд
издавать,
также — преподавать и с издателем жестким
рядиться.

Не царевичу — Року историк уроки давал,
все сомненья и страхи свои изливая,
и поэтому Ленин его в Октябре издавал
на последней бумаге,
старых матриц не переливая.

КОСЫЕ ЛИНЕЙКИ

Россия — не Азия. Реки здесь
не уходят в пески.

Из самотека

Косолинейная — в стиле дождя —
ученическая тетрадка.

В ней сформулировано кратко
все,
до чего постепенно дойдя,
все,
до чего на протяжении
жизни
додумался он,
что нашел.

В ходе бумажного передвижения
это попало ко мне на стол.

Тщетна ли тщательность?
Круглые буковки?
Все до единой застегнуты пуговки.
Главные мысли,
как гости почетные,
в красном углу
красной строки.
Доводы — аккуратно подчеркнуты,
Пронумерованы четко листки.

Впрочем, подробности эти — технические.
Мысли же — мученические,
а не ученические.
Сам дописался,
додумался сам!
Сам из квартиры своей коммунальной
с робкой улыбочкой машинальной
вызовы посылал небесам.

На фотографии,
до желтизны
блеклой,
отчетливо все же видны —
взгляд,
прозревающий синие дали,
словно исполненный важной печали,
профиль,
быть может, поморских кровей,
бритость щеки, темень бровей,
галстук,
завязанный без ошибки,
и машинальность робкой улыбки.

Эта последняя фотография
и неподробная биография
вложены вместе с тетрадкой в пакет.
Адреса же обратного нет.

Видно, и в том городке небольшом,
что разбирается все же на штемпеле,
верится плохо, чтоб кто-то нашел
волю, и силу, и время
из темени
светы погасшие извлечь.
Дело закрыто. Оборвана речь.

Я ощущаю внезапно
спиной,
кожей
и всем,
что мне в душу насовано:
то, что сегодня прочитано мной,—
мне адресовано!

Преподаватель истории,
тот,
что сочинил это все
и скончался,
был в своем праве, когда не отчаивался.
Знал, что дойдет.

Это — дошло.
Я сначала прочту.
Я перечту.
Я пометки учту.

Я постараюсь ужо,
                                        чтоб Москва,
я поработаю,
                                        чтобы Россия
тщательные прочитала слова,
вписанные в линейки косые.

ОТЕЦ

Я помню отца выключающим свет.
Мы все включали, где нужно,
а он ходил за нами и выключал, где можно,
и бормотал неслышно какие-то соображения
о нашей любви к порядку.

Я помню отца читающим наши письма.
Он их поворачивал под такими углами,
как будто они таили скрытые смыслы.
Они таили всегда одно и то же —
шутейные сентенции типа
«здоровье — главное!».
Здоровые,
мы нагло писали это больному,
верящему свято
в то, что здоровье —
главное.
Нам оставалось шутить не слишком долго.

Я помню отца, дающего нам образование.
Изгнанный из второго класса
церковноприходского училища
за то, что дерзил священнику,
он требовал, чтобы мы кончали
все университеты.
Не было мешка,
который бы он ни поднял,
чтобы облегчить нашу ношу.

Я помню, как я приехал,
вызванный телеграммой,

а он лежал в своей куртке —
полувоенного типа —
в гробу — соснового типа, —
и когда его опускали
в могилу — обычного типа,
темную и сырую,
я вспомнил его
выключающим свет по всему дому,
разглядывающим наши письма
и дающим нам образование.

* * *

О, первовпечатленья бытия!
Обвалом света
маленькое «я»
ослеплено
и оползнями шума
оглушено, засыпано.
Ему
приспособляться сразу ко всему
приходится.

О, как неравен бой!
Вся сложность мира борется с тобой,
весь вес,
все время
и пространство света.
Мир так огромен,
так ничтожен ты
меж глубины его и высоты,
но выхода, кроме победы,— нету.

* * *

Кромкой береговою
тихо бреду во тьму.

Птичьи переговоры
я никогда не пойму.

Ключ к ним надежно спрятан.
Не к чему вынимать.

С птицами можно рядом
жить и не понимать.

И ГРОМ И МОЛНИЯ

Что значила молния,
перечеркнувшая
весь мой горизонт, кругозор, окоем
и крепкой петлею меня захлестнувшая?
Что значили с молнией мы вдвоем?

Гром, закономерно грянувший после,
я слушал в пол-уха, как бы отстраня.
Но что означала молния
возле,
в полусантиметре возле меня?

ИМПЕРИЯ ЗАКАТА

Закат свои империи сжигает,
закат свои династии крушит
и до того пижонит и шикарит,
как будто мир ему принадлежит.

Но свертывается кровь заката,
густеет и темнеет дочерна,
и в отдалении, за кадром
свой слабый голос
пробует луна.

МОЛЧА СМОТРЮ НА СОЛНЦЕ

Поскольку мне достались
только небо и солнце,
я посмотрел на небо
и я увидел солнце.
Я прежде его не видел.
Я тень предпочитал.
А нынче его увидел
и весь затрепетал.

Огромное преимущество —
молча смотреть на него,
когда никакого имущества
нету, кроме него.
Когда никакого выхода
нету, кроме него,—
огромнейшая выгода —
молча смотреть на него.

ПРОЩАНИЕ

Перрон. Провожающий машет рукою.
Вагон. Отъезжающий машет платком.
О, сколько их кончилось сценой такою,
любовей и дружб. Сколько скомкалось в ком!

Не в такт они машут! И долгим гудком
затопит, зальет, как весенней рекою,
и
  машущего с перрона рукою,
и
  машущего из вагона платком.

* * *

У всех мальчишек круглые лица.
Они вытягиваются с годами.
Луна становится лунной орбитой.

У всех мальчишек жесткие души.
Они размягчаются с годами.
Яблоко становится печеным,
или мороженым,
                        или тертым.

У всех мальчишек огромные планы.
Они сокращаются с годами.
У кого намного.
У кого немного.
У самых счастливых ни на йоту.

МОЙ ДОЖДЬ, МОЙ ДЕНЬ

Серый день, ни то ни се, обыденное.
Серенький денек, ни то ни се —
сызнова увиденные
закрывают всё.

Под дождем распяленные зонтики
и плащей рои
всю цветистость мира, всю экзотику
закрывают, потому — мои.

Чувства ветхие и древние,
вечные, словно слеза.
Улица моя. Моя деревня.
Город мой. Моя стезя.

Вечные, как век мой, пусть не дольше.
Дольше — ни к чему.
Серый мой денек и частый дождик,
по плащу шумящий моему.

ЖЕЛАНИЕ

Не хочу быть ни дубом, ни утесом,
а хочу быть месяцем маем
в милом зеленеющем Подмосковье.
В дуб ударит молния — и точка.
Распилить его могут на рамы,
а утес — разрубить на блоки.

Что касается месяца мая
в милом зеленеющем Подмосковье,
он всегда возвращается в Подмосковье —
в двенадцать часов ночи
каждое тридцатое апреля.

Никогда не надоесть друг другу —
зеленеющему Подмосковью
и прекрасному месяцу маю.

В мае медленны краткие речи
зеленеющего Подмосковья
и неспешно плывут по теченью
облака с рыбаками,
рыбаки с облаками
и какие-то мелкие рыбки,
характерные для Подмосковья.

ПОСЛЕВОЕННОЕ БЕСПТИЧЬЕ

Оттрепетали те тетерева,
перепелов война испепелила.
Безгласные, немые дерева́
в лесах от Сталинграда до Берлина.

В щелях, в окопах выжил человек,
зверье в своих берлогах уцелело,
а птицы все ушли куда-то вверх,
куда-то вправо и куда-то влево.

И лиственные не гласят леса,
и хвойные не рассуждают боры.
Пронзительные птичьи голоса
умолкли.
Смолкли птичьи разговоры.

И этого уже нельзя терпеть.
Бесптичье это хуже казни.
О, если соловей не в силах петь —
ты, сойка, крикни
или, ворон, каркни!

И вдруг какой-то редкостный и робостный,
какой-то радостный,
забытый много лет назад звучок:
какой-то «чок»,
какой-то «чок-чок-чок».

ФОТОГРАФИИ МОИХ ДРУЗЕЙ

Фотографии стоили денег
и по тем временам — больших.
При тогдашних моих убежденьях,
фотографии — роскошь и шик.

Кто там думал тогда, что сроки,
нам отпущенные,— невелики.
Шли с утра до вечера строки,
надо было сгребать в стихи.

Только для паспортов —
базарным
кустарем
запечатлены,
мы разъехались по казармам,
а потом по фронтам войны.

Лучше я глаза закрою,
и друзья зашумят навзрыд,
и счастливым взглядом героя
каждый
память мою
одарит.

ПОГОНЯ

Вдохновение — отдохновение.
Устаешь, но как от любви.
Освежает его дуновение,
и мгновение это — лови!

Вдохновение — чувство полной,
безупречной удачи, перевыполненной задачи,
стопроцентной отдачи.

Словно в самом конце войны, когда
от волнения в горле першит,—
вдохновению всегда некогда,
вдохновение вечно спешит.

Как погоня задыхающаяся —
хоть погиб, зато нагнал,
вдохновение — рассыхающийся
перед пуском воды
канал.

Канонады твои, катаклизмы
и обрывы твои
с высоты!
Как строительство социализма,
нелегко вдохновенье — ты.

* * *

Про меня вспоминают и сразу же — про лошадей,
рыжих, тонущих в океане.
Ничего не осталось — ни строк, ни идей,
только лошади, тонущие в океане.

Я их выдумал летом, в большую жару:
масть, судьбу и безвинное горе.
Но они переплыли и выдумку и игру
и приплыли в синее море.

Мне поэтому кажется иногда:
я плыву рядом с ними, волну рассекаю,
я плыву с лошадьми, вместе с нами беда,
лошадиная и людская.

И покуда плывут — вместе с ними и я на плаву:
для забвения нету причины,
но мгновения лишнего не проживу,
когда канут в пучину.

НАЧИНАЕТСЯ...

Кончилось мое пока.
Началось мое совсем.
Крепкий запах табака
в каждом уголке осел.

Кончилось мое еще.
Началось мое уже.
Как мое уже — тощё
на последнем рубеже.

Все начала кончил я.
Начинается конец.
Он тяжелый, как свинец,
но правдивый. Без вранья.

ПОВЕРКА

Человек поверяется холодом или жарой
в сорок градусов выше и ниже нуля,
и еще —
облепляющей весь горизонт мошкарой,
и еще —
духотой,
бездушной, словно петля.

Закипает
и превращается в пар,
загорается
и превращается в дым
ваша стойкость.
А тот, кто упал,— пропал,
и поэтому лучше быть молодым.

Двадцать градусов лишних он выдержит —
не пропадет.
До костей он промокнет,
но всё — не до самых костей.
А сгоревши дотла,
он восстанет из пепла, пойдет
и гостей позовет!
Напоит и накормит гостей!

Лучше быть молодым!
Все, кто может,— спасайся, беги
в край,
где легкая юность чеканит шаги!

* * *

Пограмотней меня и покультурней!
Ваш мозг — моей яснее головы!
Но вы не становились на котурны,
на цыпочки не поднимались вы!

А я — пусть на ходулях — дотянулся,
взглянуть сумел поверх житья-бытья.
Был в преисподней и домой вернулся.
Вы — слушайте!
Рассказываю — я.

* * *

Самые лучшие люди из тех, что я знал, не хотели
самые лучшие книги из тех, что я знал, раскрывать,
не разбирались в гуаши, а что до пастели,
думали: это кровать.

Первый мной встреченный гений был писарем роты.
Быстро, как будто планета Земля обороты,
он совершал осмысленье планеты Земли.
Вскоре — его перевели.

Самые лучшие люди — самые занятые.
Это, наверное, были солдаты простые.
Чем занятые? Им надо творить чудеса
каждые полчаса.

Им достается не рукопись — только машинопись.
Скоропись духа — искусство — им не разобрать.
Живопись им непонятна, как клинопись.
Песни — любили орать.

Вот отоспятся, отстроются и наедятся —
и на искусство, как следует, наглядятся.

СТАРЫЕ РИФМЫ

Хорошая рифма, словно старинное,
сто раз проигранное: «мглу-углу»,
хорошая,
            пусть слышанная сторицею,
опять пластинкой идет под иглу:
все круги ее кружения,
все биения ее часов,
все пузыри ее брожения,
эхо всех ее голосов!

Рифмы, поддержанные двумя веками
русской поэзии,— ее труды.
Рифмы, истоптанные — половиками!
Рифмы, цветущие — сады!

Неснятые с вооружения, как штык,
хранимый на случай рукопашной схватки,
едва ощутимые, как рельсовый стык,
незабываемые, как родовые схватки!

Нет,
не случайно,
не даром,
не просто
первыми в голову приходят они же —
рифмы человеческого роста,
не выше,
не ниже.

Немало книг успею издать,
преодолею мели и рифы.
О, если бы мне удалось создать
одну
новую
старую
рифму!

ЯМБЫ

Приступим к нашим ямбам,
уложенным в квадратики,
придуманным, быть может,
еще в начале Аттики,
мужские рифмы с женскими
перемежать начнем,
весы или качели — качнем?
Качнем!

Все, что до нас придумано,
все, что за нас придумано,
продумано прекрасно,
менять — напрасно.
Прибавим, если сможем,
хоть что-нибудь свое,
а убавлять отложим,
без ямбов — не житье.

Нет, не житье без ямбов,
стариннейших ямбов,
и я не пожалею
для ямбов дифирамбов.
От шага ли, от взмаха?
Откуль они?
Не вем.
Не дам я с ними маху,
вовек не надоем.

От выдоха ли, вдоха?
От маятника, что ли?
Но только с ямбом воля,
как будто в Диком Поле,
когда, до капли вылит,
дождем с небес лечу,
лечу, лечу навылет
и знаю, что хочу.

КАКИЕ ЛИЦА У ПОЭТОВ

На словопрении обычном и привычном, послушав речи и окутав плечи какой-то оренбургскою рваниною, ко мне нагнулась, шатнулась, устремилась, ко мне метнулась Ксения Некрасова и громким, истовым, распевным шепотом сказала:

КАКИЕ ЛИЦА У ПОЭТОВ!

Я огляделся. Более того. Я щелкнул выключателем сознания, заведующим звуками. Все стихло. Бесшумно шевелившиеся губы оратора сложились в язвительную, горькую, лихую и благородную усмешку. Какие взгляды он метал! В Сенате — римляне, в Ареопаге — афиняне, в Конвенте — робеспьеристы метали менее значительные взгляды. Действительно:

КАКИЕ ЛИЦА У ПОЭТОВ!

Какие лбы! Какие подбородки! Хладеющая лава оскорбленности. Обвал эмоций. Водопад счастливости. Кардиограмма чувств и мыслей. Карта, притом рельефная, их жизни в искусстве. Как не сказать:

КАКИЕ ЛИЦА У ПОЭТОВ!

Единственный же способ восстановить пропорции — щелчок того же выключателя — включенье звука. Пускай заговорят! Пусть почитают, что написали. Пусть проскандируют свои удачи. Пусть заглушат недоработки. Да, в самом деле: дайте новгородцу поголосить на вече. Дайте якобинцу вотировать какую-нибудь казнь. Пусть римлянин уста отверзнет и крикнет что-нибудь. И мы решим по справедливости: такие или не такие, а если не такие то —

КАКИЕ ЛИЦА У ПОЭТОВ?

КИНОГОРОД

Из фанеры сработан с холстиной
киногород.
　　　　　　　Почти паутинной
легкости.
Почти мотыльковой
долговечности.
Пустяковый,
кружевной, эфемерный, эфирный —
кратковременного употребленья.

Есть в его обреченности смирной
грациозность почти оленья.

Что бывает с киногородами?
Кто их легкие жизни отнимет,
когда дни они докоротали,
когда их оператор отснимет?
Сколько Римов и сколько Греций
на экранах стоит упрямо?
Кто приходит глазеть и греться,
если жгут их фанерный мрамор?
Сколько готик
и сколько Аттик
быстро выстроилось, окрепло,
чтобы превратиться
　　　　　　　　　　в квадратик
пленки
и потом в кучку пепла.

Киногород свои миражи
ловко вписывает в пейзажи.
Он шумит своей съемочной группой.

Он блистает прожекторами.
А потом его вычеркнут грубо,
словно слово из телеграммы.

Вы, артисты,
и вы, статисты,
разыграйте без спора и ссоры,
воплотите точно и чисто
дивный замысел режиссера.

Осветители! Свет поставьте!
Звук, звуковики, включите!
У тумана, у супостата,
солнце
на целый день
получите!

ХОРОШО!

Хорошо было уезжать.
Хорошо было приезжать.
Хорошо было просто ездить —
хоть на север, а хоть на юг,
в одиночку или сам-друг
и с большой компанией вместе.

Расчудесный дождь — обложной
вдруг сменял распрекрасный зной
или было просто прохладно.
На другой же день, с утра,—
замечательная жара
воцарялась ловко и ладно.

Хорошо было. Хорошо!
Если было нехорошо,
значит, просто отлично было.
Почему? Потому что был
молод, юн. До сих пор не забыл
я пылания этого пыла.

САМОЕ НАЧАЛО ДНЯ

Огромное дело восхода:
как будто проходит пехота
навстречу грядущему дню
и каждый несет головню.

Согласное это движенье,
прекрасное это сожженье
ошметков ночных на заре,
как бы на огромном костре,—
есть первый значительный праздник
из многих, хороших и разных,
торжеств, фестивалей, что день
устраивает для людей.

И как бы ни прожил тот день я,
гляжу на зарю в убежденье,
что нынешний этот восход
никто уже не отберет.

НОЧЬЮ В МОСКВЕ

Ночью тихо в Москве и пусто.
Очень тихо. Очень светло.
У столицы, у сорокоуста,
звуки полночью замело.

Листопад, неслышимый в полдень,
в полночь прогремит как набат.
Полным ходом, голосом полным
трубы вечности ночью трубят.

Если же проявить терпенье,
если вслушаться в тихое пенье
проводов, постоять у столба,—
можно слышать, *что* шепчет судьба.

Можно слышать текст телеграммы
за долами, за горами
нелюбовью данной любви.
Можно уловить мгновенье
рокового звезд столкновенья.
Что захочешь, то и лови!

Ночью пусто в Москве и тихо.
Пустота в Москве. Тишина.
Дня давно отгремела шутиха.
Допылала до пепла она.

Все трамваи уехали в парки.
Во всех парках прогнали гуляк.
На асфальтовых гулких полях
стук судьбы, как слепецкая палка.

ФРЕСКА «ЗЛОБА ДНЯ»

(Фрагменты)

Старики обижаются, что старость хуже,
чем это кажется в молодости.
Старухи не обижаются, а ходят за стариками,
как толковые секундные стрелки за непроворными
часовыми.
Впрочем, это — из фрески «Вечность».

Кандидат наук добился приема
у председателя райисполкома
и просит отдельную, трехкомнатную,
с окнами на двор, квартиру.
— Я сделал открытие! Не верите — звоните
хоть директору института!..—
Председатель райисполкома не верит,
но звонить никому не будет:
он самолично сделал открытие,
что кандидат наук — дубина.

Небо не изменилось с шестнадцатого века,
когда, согласно летописи, оно было голубое.
Солнце заходит в том же самом месте,
где заходило в шестнадцатом веке.
Впрочем, это — из фрески «Вечность».

Закат багровит, кровавит пьяных.
Впрочем, трезвых он тоже багровит.

Три десятиклассницы — народные дружинницы
с белыми бантами в русых косичках
и красными повязками на белых блузах
бродят по улице в часы получки.
На этой улице одна читальня,
одна забегаловка и два ресторана.
То-то девчонки наслушаются фольклору!

Солнце зашло, и бледные звезды
вышли на бледное небо.
Впрочем, это — из фрески «Вечность».

Три телевизионные программы
слышатся из трех соседних окон.
Фестиваль студенческих песен
заглушает рассуждения
престарелого музыковеда
о вреде студенческих песен,
а истошный крик футбола
заглушает и музыку и слово.

Созвездие за созвездием
ходят по небу, как положено.
Впрочем, это — из фрески «Вечность».
В подъезде большая студентка
громко целует маленького студента
и говорит: «Ты некрасивый,
но самый умный на целом свете!»

Это тоже из фрески «Вечность».

Маленькие девочки с большою силой
выплескивают маленький пруд на берег,
выкликая: «Братцы, тонем!»
Это тоже из фрески «Вечность».
Слегка замазанная известкой,
эта фреска проступает,
даже выпирает из фрески,
именуемой «Злоба дня».

ЗАКЛИНАНЬЕ

Вдохновенье! Средь бела дня
найди меня, найди меня, найди меня!
Обожди меня, не обойди меня!

Вот я высунулся, показался,
на пути твоем оказался,—
не проходи же мимо меня!

Я зарядку сделал. Водой
ледяной окатился.
Неотвязный, нервный, худой,
точно инвалид, подкатился,
точно на тележке, к нему:
— Эй, браток, не обойди меня!
Все отдам! Все с себя сниму!
Не пройди, не пройди, не пройди мимо меня!

А браток бросает пятак,
небольшую монету,
а потом говорит: — Вот так.
Для тебя больше нету.

ЗАЛ ОЖИДАНЬЯ

Это — зал ожиданья. Скамейки узки, тверды.
Хочешь — ляг. Хочешь — сядь. Полежи, посиди снова.
Ожидай, что положено: удачи, беды.
Потому что тебе не положено зала иного.

Это — зал ожиданья. Счастья, страданья
Здесь навалом, насыпом, слоями, рядами.
Влево, вправо — немедленно ступишь в рыданья,
потому что достаточно здесь нарыдали.

Впрочем, выбора, этой единственно подлинной
человеческой роскоши,— выбора нет.
В освещенной неярко и плохо натопленной,
все же в нашей судьбе есть тепло, есть и свет.

То калачиком сжавшись, то вытянув ноги,
потому что скамейка тверда, узка,
ожидаешь
с железной, железной дороги
золотого, серебряного звонка.

* * *

Забился на верхнюю полку —
простужен, устал, еле жив,
старушечку богомолку
на нижнюю уложив.

Старушечка формулы шепчет,
не действующие давно.
Пространства ревущего скрежет
настойчиво лезет в окно.

И рваное, как попаданье,
осколочное, в живот,
поверженное преданье
в купе этом темном живет.

ОДИССЕЙ

Хитрый лис был Улисс.
Одиссей был мудрей одессита.
Плавал, черт подери его,
весело, пьяно и сыто.

А его Пенелопа,
его огорчить не желая,
все ждала и ждала его,
жалкая и пожилая.

А когда устарел
и физически он и морально
и весь мир осмотрел —
вдруг заныло, как старая рана,
то ли чувство семьи,
то ли чувство норы,
то ли злая
мысль,
что ждет Пенелопа —
и жалкая и пожилая.

Вдруг заныла зануда.
В душе защемила заноза.
На мораль потянуло
с морального, что ли, износа!

Я видал этот остров,
настолько облезлый от солнца,
что не выдержит отрок.
Но старец, пожалуй, вернется.

Он вернулся туда,
где родился и где воспитался.
Только память — беда!
И не вспомнил он, как ни пытался,
той, что так зажилась,
безответной любовью пылая,
и его дождалась,
только жалкая
и пожилая.

ИТАКА

Итак, я стоял со штурманом,
а Греческие острова
плыли, почти бесшумные,
сухие, словно трава.

Кострища, пепелища,
выжженные дотла!
Жарынь огнепалящая
с них еще не сошла.

Сухие клочки Сахары,
пустые обломки пустынь!
К чему эта глина сухая?
Зачем ей вечная синь?

Но судно срезало угол,
штурман точно взглянул,
то ли вслух подумал,
то ли громко шепнул:

— Итака!

Сколько он мне напомнил
в зоне сухого огня!
Я его сразу понял,
тотчас он меня:

— Итака!

Приписанные к Одессе
или к любому порту,
приписаны мы к Итаке,
знаем ее высоту.

О вечный образ дома,
исконный приют стиха!
Морской волной несома
сухая твоя шелуха,

Итака!

Твою золотую полову
не сдул ни один ураган.
Второй Эпопеи Слово
бушует на страх врагам:

Итака!

И чувствами теми большими
внезапно поражены,
гекзаметром бьют машины,
иначе они не должны

в виду Итаки.

ТОЛСТЫЕ КНИГИ

За мгновенье до гибели ковырять в словаре,
проверять дотошно и зорко,
чтобы все на вечерней заре
как на утренней было зорьке,
и, по склону катясь
или рушась с горы,
завершая последние строки,
вспоминать афоризмы,
что были остры,
и цитировать дивные строки!

Жизнь под лампой настольной,
за крепким столом,
через Книги — навылет,
стремглав,
напролом,
где событье — мысль
и несчастье — мысль,
где от книг
и любви тектонический сдвиг,
и поступки,
и даже улыбки.
Все от них,
от блаженных и пылких вериг,
все решенья, свершенья, ошибки.

Дней страницы листая
одну за другой,
год за годом,
как том за томом.

Это было и страсти ревущей пургой,
и надежным оплотом,
и домом.

За мгновенье до гибели уточнять,
и на чью-то небрежность ревниво пенять,
и обвала крови не умея унять,
вдруг какую-то толстую книгу ронять.

ПЕРЕД ВЕЧЕРОМ

Еще и звезды не зажгли!
Еще планеты не включили,
еще луну не волочили
в небесной призрачной пыли!

Но день уже сникает, вянет:
он выдохся за целый день.
Он увеличивает тень
и уменьшать ее не станет.

И тень густеет, как раствор
цементный,
 и отвердевает,
хладеет
 и охладевает,
зовется ночью с этих пор,
и звезд далекий разговор
внезапно душу задевает.

ГРЯЗНАЯ ЧАЙКА

Гонимая
передвиженья зудом,
летящая
здесь же, недалеко,
чайка,
испачканная мазутом,
продемонстрировала
брюшко.

Все смешалось: отходы транспорта,
что сияют, блестят на волне,
и белая птица, та, что распята
на летящей голубизне.

Эта белая птица господняя,
пролетевшая легким сном,
человеком и преисподнею
мечена:
черным мазутным пятном.

Ничего от нас не чающая,
но за наши грехи отвечающая,
вот она,
вот она,
вот она,
нашим пятнышком зачернена.

НОЧЬ

Не глушь, а слепь.
Не темь, а пустота.
Где глубина, где высота,
где долгота, где широта —
не разберешь: ни вехи, ни отметки,
и в небесах ни Альфы, ни Омеги,
и на земле не больше, ни черта.
Молчание. Мир словно черный кладезь.
И это — на окраине Москвы!
Часы ручные, как ручные львы,
ревут с руки, что с вечностью не сладишь.

ДАВНЫМ-ДАВНО

Еще все были живы.
Еще все были молоды.
Еще ниже дома́ были этого города.
Еще чище вода была этой реки.
Еще на ноги были мы странно легки.

Стук в окно в шесть часов,
в пять часов
и в четыре,
да, в четыре часа.
За окном — голоса.
И проходишь в носках в коммунальной
квартире
в город, в мир выходя
и в четыре часа.

Еще водка дешевой была. Но она
не желанной — скорее, противной казалась.
Еще шедшая в мире большая война
за границею шла,
нас еще не касалась.

Еще все были живы:
и те, кого вскоре
ранят; и те, кого вскоре убьют.
По колено тогда представлялось нам горе,
и мещанским тогда нам казался уют.

Светлый город
без старых и без пожилых.

Легкий голод
от пищи малокалорийной.
Как напорист я был!
Как уверен и лих
в ситуации даже насквозь аварийной!

Ямб звучал —
все четыре победных стопы!
Рифмы кошками под колеса бросались.
И поэзии нашей
                    шальные столпы
восхитительными
                    похвалами
                              бросались.

* * *

Солоно приходится и горько.
Жизнь — как черноморская вода.
Слышу, тонущий товарищ: «Борька!» —
криком мне кричит, как и тогда.

Он захлебывается. Он бы плакать
стал. Но не хватает сил.
Оба не умеем плавать —
я и тот, кто помощи просил.

Как мы далеко тогда заплыли!
До чего там было глубоко!
До чего нам не хватало прыти!
До чего нам было нелегко!

Горького с соленым перепившись,
наглотавшись на всю жизнь,
этот черновик не перепишем:
сколько можешь, на воде держись!

Сколько можешь, слушай крики друга
и плыви на помощь, не зевай,
и уже слабеющую руку,
сколько можешь,
подавай!

МОРОЗ

Совершенно окоченелый
в полушерстяных галифе,
совершенно обледенелый,
сдуру выскочивший
на январь налегке,
неумелый, ополоумелый,

на полуторке, в кузове,
сутки я пролежал,
и покрыл меня иней.
Я сначала дрожал,
а потом — не дрожал:
ломкий, звонкий и синий.

Двадцать было тогда мне,
пускай с небольшим.
И с тех пор тридцать с лишком
привыкаю к невеселым мыслишкам,
что пришли в эти градусы
в сорок,
пускай с небольшим.

Между прочим, все это
случилось на передовой.
До противника — два километра.
Кое-где полтора километра.
Но от резкого и ледовитого ветра,
от неясности, кто ты,—
замерзший или живой,
даже та, небывалая в мире война
отступила пред тем,
небывалым на свете морозом.

Ну и времечко было!
Эпоха была!
Времена!

Наконец мы доехали.
Ликом курносым
посветило нам солнышко.
Переваливаясь через борт
и вываливаясь из машины,
я был бортом проезжей машины —
сантиметра на четверть —
едва не растерт.

Ну и времечко было!
Эпоха была!
Времена!

Впрочем, было ли что-нибудь
лучше и выше,
чем то правое дело,
справедливое наше,
чем Великая Отечественная война?

Даже в голову нам бы
прийти не могло
предпочесть или выбрать
иное, другое —
не метели крыло,
что по свету мело,
не мороз,
нас давивший
тяжелой рукою

ПОСЛЕВОЕННЫЙ ШИК

Все принцессы спят на горошинах,
на горошинах,
без перин.
Но сдается город Берлин.

Из шинелей, отцами сброшенных
или братьями недоношенных,
но — еще ничего — кителей,
перешитых, перекореженных,
чтобы выглядело веселей,
создаются вон из ряду
выдающиеся наряды,
создается особый шик,
получается важная льгота
для девиц сорок пятого года,
для подросших, уже больших.

— Если пятнышко, я замою.
Длинное — обрезать легко,
лишь бы было тепло зимою,
лишь бы летом было легко...

В этот карточный и лимитный
год
не очень богатых
нас,
перекрашенный цвет защитный,
защити! Хоть один еще раз.

Вещи, бывшие в употреблении,
полинявшие от войны,

послужите еще раз стремлению
к красоте.
Вы обязаны, вы должны
посуществовать, потрудиться
еще раз, последний раз,
чтоб смогли принарядиться
наши девушки
в первый раз!

ПЛЯЖИ СОРОК ШЕСТОГО ГОДА

Раны затягиваются, зарастают,
но шрамы — не прошлогодний снег:
даже под южным солнцем не тают,
даже на пляже ясны для всех.

Товарищ, на пиджаке — по планкам,
на пляже — по затянувшимся ранкам,
я у тебя, ты у меня,
тихо — так мы предпочитаем,—
без объяснений прочитаем
летопись эпохи огня.

Ты, приседающий с подскоком
и брюшной развивающий пресс,
как там,
штыком или осколком?
Покажи.
У меня интерес.

Мы еще молодые и ранние.
Нам по три года до тридцати.
Но — на носилках — повторно раненные
и разбомбленные в пути.

Когда на три года война затягивается
и — четвертый потом возник,
шкура солдатская затягивается
сетью слепых,
сетью сквозных.

У табакура,
у бедокура,

у балагура
почти на треть
изрешеченная сталью шкура.

На свет лучше ее не смотреть.
Так, под мерный поход прибоя,
мы друг на друге читать должны
клинопись недавнего боя,
иероглифы этой войны.

ЧИСТОТА

Много лет я прожил без денег —
как диктатор или бездельник,
словно гений или монах:
наг и благ.

Чисто было в дыму и гари.
Чистоту души сберегали
белый снег, сырая земля,
полная бесплотность рубля.

Под ружейным и пулеметным
становился рубль бесплотным
и еще тощал с каждым днем
под артиллерийским огнем.

Всей зарплаты моей огромной
и солдатской — довольно скромной —
не хватало на одеколон.
Мне — на литр. Ему — на флакон.

Вызывал каскады восторга
автомагазин Военторга,
где журчали духов роднички
и белели подворотнички.

Остальное все было бесплатно.
Было — не было. Есть, и ладно.
Если не было ничего,
это тоже ничего.

От пиров картошкой печеной
или — вдруг — морошкой моченой
и от кулинарных острот
все насчет колбасы «Второй фронт»

стал я тощ, прозрачен, легок,
но при этом ничуть не робок.
Стал я бледен, застенчив не стал.
Перед смертью не трепетал.

Чисто было на сердце. Пусто
в вещмешке. Трещала капуста
в медной кухне у старшины.
Так — в течение всей войны.

И не голод, недоеданье
перешли с войною в преданье,
а особая легкость и та
небывалая чистота.

ВОСПОМИНАНИЕ О ДРУЖБЕ

А я-то думал — просто цель накрыл,
предполагал, что в яблочко попал,
и не расслышал шелест чудных крыл,
а он прошелестел и вдруг пропал.

А я-то думал: поразил мишень.
В ученье тяжко, но легко в бою.
Он до сих пор отбрасывает тень
на жизнь мою.

Я до сих пор живу в его тени,
отброшенной давно и невзначай.
А я располагал: билет тяни
и выигрыш немедля получай.

ПЕСОК

То, что в дочке не проявилось
и, казалось, в песок ушло,
вдруг внезапно во внучке явилось,
ошарашило, обожгло,—
это гневное глаз сверканье,
это всех кумиров сверганье,
этот головы поворот
и надменно стиснутый рот.

Слушай, девочка на песочке
на писательском пляже в Крыму!
В многоточья последней точке,
может, виделась ты ему.
Ты игрушку сейчас отложишь,
ты подружку столкнешь со скамьи,
ты не знаешь и знать не можешь,
что любые ухватки твои
повторяют верно ухватки
не вернувшегося из схватки
и уткнувшегося в песок
с пулей, врезавшейся в висок.

АНАЛИЗ ФОТОГРАФИИ

Это я, господи!

Из негритянского гимна

Это я, господи!
Господи — это я!
Слева мои товарищи,
справа мои друзья.
А посередке, господи,
я, самолично — я.
Неужели, господи,
не признаешь меня?

Господи, дама в белом —
это моя жена,
словом своим и делом
лучше меня она.
Если выйдет решение,
что я сошел с пути,
пусть ей будет прощение:
ты ее отпусти!

Что ты значил, господи,
в длинной моей судьбе?
Я тебе не молился —
взмаливался тебе.
Я не бил поклоны,
не обидишься, знал.
и все-таки безусловно
изредка вспоминал.

В самый темный угол
меж фетишей и пугал
я тебя поместил.
Господи, ты простил?

Ты прощай мне, господи:
слаб я, глуп я, наг.
Ты обещай мне, господи,
не лишать меня благ:
черного теплого хлеба
с желтым маслом на нем
и голубого неба
с солнечным огнем.

ЖАЛКИЕ ПЛЯСКИ

Это так же смешно, как старик,
делающий зарядку на пляже:
рассчитавшись на первых-вторых,
он подпрыгивает и пляшет.

Как бы тщательно он ни плясал,
с ходом времени яростно споря,
как бы дерзостно он ни влезал
по колено в холодное море,—

все равно это просто смешно,
и при этом не только недавно,
а давно, даже очень давно.
Только, может, смешнее с годами.

Он, возможно, большого ума,
жизнь его, говорят, эпопея,
но бывает, и мудрость сама
пляшет сдуру, внезапно глупея.

Нам бы надо его обойти,
в стороне и в тени чтоб остаться
и чтоб судорожному танцу,
жалкой пляске не встать на пути.

ПАР И ДУША

Пар под очень большим давлением
превращается в душу,
оживляя своим появлением
бездыханную тушу,
то ли радостью, то ли горем
ей глаза наливая,
а казалось, ее над морем
высота — нулевая.

Горе некоторых изувечит,
доконает, прикончит,
а других очеловечит —
кто как сможет и как захочет.
А от радости — толку мало —
выпьешь, закусишь,
повторишь еще без обмана,
удила закусишь
и отмякнешь, размокнешь
и ленью
пропитаешь каждое слово,
и душа,
лишившись давленья,
станет паром обычным снова.

ОДНА САТАНА

Как болт с гайкой, со мной совпади,
попади нарезом в нарез,
а не хочешь, так прочь поди,—
если так, не большой интерес.

Прибыль невелика от ссор,
навсегда решай — ты со мной?
Даже если мы оба — сор,
пусть сметут метлой одной.

Даже если мы оба — мир,
он на полумиры неделим.
И, в отличие от квартир,
разменять мы его не хотим.

Будь со мной, со мной, со мной,
а я буду с тобой, с тобой,
нераздельной, единой, одной
долей ли, судьбиной, судьбой.

ПЛАТОН

Стали много читать Платона.
Любят строй драматических глав.
После выхода каждого тома
выкупает подписчик стремглав.

Интересно, помогут ли совести
эти споры античных времен,
эти красноречивые повести —
те, что нам повествует Платон.

Скоро выяснится. А покуда
мы не знаем еще:
причуда,
хобби,
красного ради словца,
что дороже родного отца,

или этот старинный философ,
всех томов его полный объем,
отвечает на пару вопросов —
тех,
что мы себе задаем.

ДЕРЕВЬЯ

Деревья живут без спроса,
умирают без стона,
преображая прозу
в песнь золотого тона.

Замедленные на столетья
взрывы, то есть деревья,
преобразят лихолетье
в пенье, в оперенье,

в общежитье птичье,
в дивное разноголосье.
Лихолетье — в величье,
словно назём — в колосья.

Древо стремится к небу
и его достигает.
От работы к хлебу
его никто не тягает.

От всего на свете —
этот способ древний —
можно отворотиться
и посмотреть на деревья.

ПРОВЕРКА

Щенок гоняется за воробьем,
но воробей ему не поддается,
и вместе с птицей над щенком смеется
вся сложность мира,
весь его объем.

Мироустройство знает, что щенок
охрипнет, взмокнет и собьется с ног,
устанет, выдохнется и умается,
но воробей проклятый не поймается.

Под солнцем южным, на большом ветру
щенка гоняют, воробья гоняют,
проигрывают
в энный раз
игру,
до энной доли
что-то уточняют.

МУДРОСТЬ ТЕЛА

Понимает тело, что положено
понимать ему,
а поэтому,
а потому —
с телом нужно только по-хорошему.

Понимает тело, где напрячься
и расслабиться когда.
От его запросов — и не прячься!
А с его запретами — беда!

Мышцы умные
и кости мудрые
действуют толково, не спеша.
Так, как сердце разумеет утро,
разве может понимать душа?

Разве разумом уразумеешь
солнце
так,
как кожей ощутишь
и как пальцами мороз замеришь,
как всем костяком услышишь тишь?

Звон,
в ушах моих звонивший славой,
шум,
бушующий в моей крови,—
время,
это ты!
Благослови
плоть счастливую,
а дух мой слабый,
если хочешь —
вовсе отзови!

ВЫБОР

Выбор — был. Раза два. Два раза.
Раза два на моем пути
вдруг раздваивалась трасса,
сам решал, куда мне пойти.

Слева — марши. Справа — вальсы.
Слева — бури. Справа — ветра.
Слева — холм какой-то взвивался.
Справа — просто была гора.

Сам решай. Никто не мешает,
и совета никто не дает.
Это так тебя возвышает,
словно скрипка в тебе поет.

Никакой не играет роли,
сколько будет беды и боли,
ждет тебя покой ли, аврал,
если сам решал, выбирал.

Слева — счастье. Справа — гибель.
Слева — пан. Справа — пропал.
Все едино: десятку выбил,
точно в яблочко сразу попал.

Раза два. Точнее, два раза.
Раза два. Не более двух
мировой посетил меня дух.
Самолично!
И это не фраза.

ПРОДЛЕННЫЙ ПОЛДЕНЬ

Продленный полдень лучше дня продленного,
и солнышко, что с неба полуденного
печет,— по-настоящему печет.
Вечернее же солнышко — не в счет.

В продленный полдень медленней течет
река, поскольку далеко до вечера
и торопиться не к чему и нечего.

В продленный полдень — старикам почет,
поскольку молодость у всех — продленная,
и летний дождик медленный сечет,
и вздрагивает дорога запыленная.

Но представлять приходится отчет
за все: за основное и продленное.

СТРАННАЯ СУДЬБА МЕЖДОМЕТИЙ

Чу! —
Пушкина, Жуковского, Некрасова,
звучавшее когда-то как труба,
в негодованье из стихов выбрасываю:
у междометий странная судьба.

И в этом веке
горести, печали,
злосчастия
не обошли Москвы,
но вы, конечно, замечали —
никто не говорит о них:
увы!

Числительные и местоимения
спокойно пережили те имения,
те вотчины,
где их вставляли в стих.
Их голос до сих пор не стих.

Но восклицанья вместе с восклицавшими,
в междоусобицах гражданских павшими,
откочевали в давние года.
Ушли и не вернутся никогда.

ТАНЦЫ

Танцую от печки. Ведь печка
не хуже любого местечка.

Танцую от старого танца —
от слова усопшего старца.

Как старые вещи лицуют,
так старые танцы танцуют.

Но заново гляну на вещи
и танец станцую новейший —

от печки, которую сложат
в тридцатом столетье, быть может.

Что день нам грядущий готовит,
станцую, хоть, верно, не стоит,

а стоит заняться забытым
в хореографии бытом:

от мысли почти гениальной,
подслушанной в давке трамвайной,

от пения провода в бурю,
что песнь превосходит любую,

от стука на рельсовом стыке,
от скрипа старинной пластинки

исходит, как запах от розы,
исполненный сладостной прозы

мотив для таковского танца,
чтоб мир заплясал, может статься,

ЛЬВЫ В ВЫШНЕМ ВОЛОЧКЕ

Над ними тучи парусят
в медлительном
                    темпе
                        гавота.
Напоминая поросят,
телят, щенят,
                еще кого-то.
Из пыли высунув едва
свои величественные морды,
четыре площадные льва
лежат униженно и гордо.

Затем ли мастер крепостной
их отливал в своем подклетье,
чтоб пресмыкались предо мной
львы
    позапрошлого столетья!

Льва ни единожды не зрев —
их в Вышнем было очень мало, —
он лил их по гравюре.
Лев!
Гравюра веско утверждала.

А мал был лев или велик,
не знал скульптóр вышневолоцкий,
отливший хвост, и торс, и лик,
хоть львиный, но довольно плоский.
Опала в августе листва,
зане жара была в то лето.

На взгляд проезжего поэта,
пустыня окружала льва.

Столичных экскурсантов рой,
автобусом насквозь пропахлый,
был загнан тою же жарой
в тень той же самой флоры
чахлой.

Их всех развеселил на миг,
развлек на целое мгновенье
и львиный хвост,
и львиный лик,
и грузной лапы мановенье.

Затем ли?
Видимо, затем.
Другой причины я не вижу.

За сквером маленьким, за тем,
а также несколько повыше,
располагались небеса,
большие, синие, пустые.

На лики львиные
простые
вечерняя
пала роса.

МАЯТНИК В СОБОРЕ

Снова год не приходится на год,
не приходится на год год.
После года тяжелых тягот
наступает год легких льгот.

Как на маятнике, подвешенном
на крюке, что забит в звезду,
в спектре неба, пестром и смешанном,
я то влево, то вправо иду.

Купол неба — как купол храма.
Как смоленский собор, мир велик,—
там
    по физике школьной
                                программу
комсомол изучать привык.

Как мотаться было тоскливо
тому маятнику Фуко!
Как смеялись внизу счастливо!
Как учиться было легко!

Безо всякого комментария,
как смоленский старожил,
позабытую эту историю
мне Твардовский изложил.

Не прибавил, не убавил —
просто случай изложил.
И меня — не позабавил,
и себя — не ублажил.

УЧЕБНАЯ МУЗЫКА

Когда я слышу гаммы за стеной,
мирюсь с разодранною тишиной.
Я знаю: эти гаммы — признак счастья.
Тот мученик, что к фортепьяно сел,
спал с вечера, с утра поел.
Пускай долбает клавиши почаще.

Ничто с такой прекрасной полнотой
не выражает улучшенья жизни,
как этот звук настырный и простой.
Звучи же!
Из любого дома брызни!

Излишество?
Колоннами его
символизируют и выражают.
Колонны пусть чернят и разрушают.

Но музыки учебной вещество,
сочащееся из-под каждой рамы,
точней, чем экскаваторы и краны,
передает строительный размах,
все время нарастающий в домах.

КОЛОКОЛА

Колокола, а также бубенцы,
но с даром отзыва и звона,
звонят и звякают во все концы,
как и во время оно.

Разорванную связь времен,
веков расставшихся громады
не связывает перезвон.
Он нужен для порядка, аромата.

В нем только ностальгия новизны
о старине,
костей ломота,
струенье крови,
явственные сны,
технического века мода.

Но мне ли отрицать, что перезвон
при всем при том
владычен и державен,
что в нем своя краса и свой закон,
что небу и Бетховену он равен.

НОВЫЕ ЧУВСТВА

Постепенно ослаблены пять основных,
пять известных, классических,
пять знаменитых,
надоевших, уставших, привычных, избитых.
Постепенно усилено много иных.

Что там зрение, осязание, слух?
Даже ежели с ними и сяду я в лужу,
будь я полностью слеп,
окончательно глух —
ощущаю и чувствую все же не хуже.

То, о чем догадаться я прежде не мог,
когда сами собою стихи получались,
ощущаясь
как полупечаль, полушалость,
то, что прежде
меня на развилке дорог

почему-то толкало не влево, а вправо,
или влево, не вправо,
спирая мне дух,—
ныне ясно, как счастье,
понятно, как слава
и как зрение, осязание, слух.

То, что прежде случайно, подобно лучу,
залетало в мою темноту, забредало,

что-то вроде прóвиденья или радара,—
можно словом назвать.
Только я не хочу.

И чем стекла сильнее в очках у меня,
тем мне чтение в душах доступней и проще,
и не только при свете и радости дня,
но и в черной беспросветности ночи.

ХОЗЯИН, А НЕ ГОСТЬ

У Кузнецова слово
цепляло другое слово,
и Павла Варфоломеича
поэтому, разумеется,
понять было нелегко.
Зато на его полотнах
все было ясно, прекрасно,
все было густо, плотно,
как млечных путей молоко.

Послушавши разговоры,
а в них описывал он
минувших времен договоры
художнических племен,
я скашивал глаз на стенку,
где не бывало оттенка,
но быстрым ходом планет
шел цвет.

Шел цвет — косяк
цветных сельдей.
Стоял казах
среди степей.
Ревели желтые ослы
свои хулы или хвалы,
и шли их сильные голоса
в синие небеса.

А ежели писался мираж,
был он столь густ,
что его, как масло, мажь
и пробуй с хлебом — на вкус.

А ежели писалась гора,
а на ней лоза,
была гора настолько остра,
что резала глаза.

Мне в голову приходило не раз,
разгадка была легка,
что Кузнецову нужен рассказ,
как третья нога или третья рука.

Покуда в мире есть цвета,
в тюбиках краски есть,
на квадратном метре холста
хозяин он, а не гость.
Покуда красное горячит,
синее холодит
и каждый цвет — поет, рычит,
требует, твердит,
пока продаются кисти, пока
в тюбиках краски есть,—
ему не требуется языка
другого. Других средств.
Словно предки его — кузнецы —
подковы всех сортов,
он знал начала и концы
каждого из цветов.
Не боявшийся ничего —
мнений, влияний, сил,—
словно Павел, тезка его,
веру свою проносил.
Словно отец его Варфоломей,
такую устраивал ночь,
чтобы черного черней,
чтобы все звезды — прочь.

Как обычно, среди стихий —
вот он — живой стоит.
Молча выслушивает стихи,
но мнение — утаит.

ВЕРНОСТЬ

А верность этому рисунку,
сему расположенью звезд,—
сильней расчета и рассудка.

И этой плотности тумана,
и этой сложности романа —
так мог писать один Толстой.

И снегу, с белизной кричащей,
заваливающему на полгода
дома, и площади, и чащи.

Верны не в силу обязательств,
законоположений или —
благодаря незримой силе,

колосья связывающей с почвой,
в руду включающей металлы,
объединяющей день с ночью.

УТРО, КОТОРОЕ МУДРЕНЕЕ

Я отстраню ночные страхи —
пластался с ними я во прахе,
и старость смою я водой
и стану снова молодой.

Недаром бешено и кратко
радиоточки марш ревут.
Недаром делают зарядку,
как путы рвут,
как цепи рвут.

Я обнадежен и утешен
старинным символом, простейшим —
восходом солнышка.
Оно
восходит так же, как давно.

Восходит, как в младые годы,
а в молодые те года
не замечал я непогоды
и собирался жить — всегда.

ТАНЕ

Ты каждую из этих фраз
перепечатала по многу раз,
перепечатала и перепела
на легком портативном языке
машинки, а теперь ты вдалеке.
Все дальше ты уходишь постепенно.

Перепечатала, переплела
то с одобреньем, то с пренебреженьем.
Перечеркнула их одним движеньем,
одним движеньем со стола смела.

Все то, что было твердого во мне,
стального,— от тебя и от машинки.
Ты исправляла все мои ошибки,
а ныне ты в далекой стороне,
где я тебя не попрошу с утра
ночное сочиненье напечатать.
Ушла. А мне еще вставать, и падать,
и вновь вставать.
Еще мне не пора.

ПРОЩАНИЕ

Уходящая молодость.
Медленным шагом уходящая
молодость,
выцветшим флагом
слабо машущая над седой головой.
Уходя,
она беспрерывно оглядывается:
что там делается?
И как у них складывается?
Кто живой?
Кто средь них уже полуживой?

Говорят, уходя — уходи.
В этом случае
уходя — не уйти будет самое лучшее.
Уходя — возвратиться, вернуться
назад.

Уходящая и шаги замедляющая,
все кусты по дороге цепляющая,
уходящая молодость!
Вымерзший сад!

ШКОЛА ВОЙНЫ

Школа многому не выучила —
не лежала к ней душа.
Если бы война не выручила,
не узнал бы ни шиша.

Жизни, смерти, счастья, боли
я не понял бы вполне,
если б не учеба в поле —
не уроки на войне.

Объяснила, вразумила,
словно за руку взяла,
и по самой сути мира,
по разрезу, провела.

Кашей дважды в день кормила,
водкой потчевала и
вразумила, объяснила
все обычаи свои.

Был я юным, стал я мудрым,
был я сер, а стал я сед.
Встал однажды рано утром
и прошел насквозь весь свет.

ОДНОГОДКИ

Долго жили,
быстро умирали,
но себя ничем не замарали.

Майки были белые.
Трусы —
черные.
Плечи — солнышком копченные.
Подростковые усы.

Брюки были
в клетку и полоску,
а рубашки, как снега, белы.
До зеркального натерты лоску
туфли. Цвета мглы.

А потом — солдатские цвета,
хаки выцветшая простота.
Поле с зеленью живою,
солнышко над головою.

Все, что могут получить народы
у истории и у природы,
получили:
зной, что жег до слез,
ознобляющий до слез мороз.

Как была природа нелегка!
Как была история сурова!
Как хватали ветры за бока
от сугроба до сугроба!

Тем не менее
всё, что смогли,
сделали.
Смогли же много, много.
С песнею солдатской,
в ногу
поле жизни перешли.

До сих пор
возвышенно и гордо,
топом братской простоты,
спрашивают:
— Ты с какого года?
— Я с такого же, как ты!

ЛЮБОВЬ К СТАРИКАМ

Я любил стариков и любви не скрывал.
Я рассказов их длительных не прерывал,
понимая,
что витиеватая фраза —
не для красного, остренького словца,
для того,
чтобы высказать всю, до конца,
жизнь,
чтоб всю ее сформулировать сразу.

Понимавшие всё, до конца, старики,
понимая любовь мою к ним,
не скрывали
из столбцов
и из свитков своих
ни строки:
то, что сам я в те годы узнал бы едва ли.

Я вопросом благодарил за ответ,
и катящиеся,
словно камни по склону,
останавливались,
вслушивались благосклонно
и давали совет.

НАГЛЯДНАЯ СУДЬБА

Мотается по универмагу
потерянное дитя.
Еще о розыске бумагу
не объявляли.
Миг спустя
объявят,
мать уже диктует
директору набор примет,
а ветер горя дует, дует,
идет решительный момент.

Засматривает тете каждой
в лицо:
не та, не та, не та! —
с отчаянной и горькой жаждой.
О, роковая пустота!
Замотаны платочком ушки,
чернеет родинка у ней:
гремят приметы той девчушки
над этажами все сильней.

Сейчас ее найдут, признают,
за ручку к маме отведут
и зацелуют, заругают.
Сейчас ее найдут, найдут!
Быть может, ей и не придется
столкнуться больше никогда
с судьбой, что на глазах прядется:
нагая, наглая беда.

ОДИННАДЦАТОЕ ИЮЛЯ

Перематывает, обмотку,
размотавшуюся обормотку,
сорок первого года солдат.
Доживет до сорок второго —
там ему сапоги предстоят,
а покудова он сурово
бестолковый поносит снаряд.

Пó ветру эта брань несется
и уносится через плечо.
Сорок первого года солнце
было, помнится, горячо.
Очень жарко солдату. Душно.
Доживи, солдат, до зимы!
До зимы дожить еще нужно,
нужно, чтобы дожили мы.

Сорок первый годок у века.
У войны — двадцатый денек.
А солдат присел на пенек
и глядит задумчиво в реку.
В двадцать первый день войны
о столетии двадцать первом
стоит думать солдатам?
Должны!
Ну, хотя б для спокойствия нервам.
Очень трудно до завтра дожить,
до конца войны — много легче.

А доживший сможет на плечи
груз истории всей возложить.

Посредине примерно лета,
в двадцать первом военном дне,
восседает солдат на пне,
и как точно помнится мне —
резь в глазах от сильного света.

ЗВУКОВАЯ ИГРА

Я притворялся танковой колонной,
стальной, морозом досиня каленной,
непобедимой, грозной, боевой,—
играл ее, рискуя головой.

Я изменял в округе обстановку,
причем имея только установку
звуковещательную на грузовике,—
мы действовали только налегке.

Страх и отчаянье врага постигнув,
в кабиночку фанерную я лез
и ставил им пластинку за пластинкой —
проход колонны танков через лес.

Колонна шла, сгибая березняк,
ивняк, дубняк и всякое такое,
подскакивая на больших корнях —
лишая полк противника покоя.

С шофером и механиком втроем
мы выполняли полностью объем
ее работы — немцев отвлекали,
огонь дивизиона навлекали.

Противник настоящими палил,
боекомплекты боевые тратил,
доподлинные деревца валил,
а я смеялся: ну, дурак, ну, спятил!

Мне было только двадцать пять тогда,
и я умел только пластинки ставить
и понимать, что горе не беда,
и голову свою на карту ставить.

СОСТАВНЫЕ СЛОВА

Конноспортивные,
военно-полевые,
радиоактивные,
почтово-грузовые:
слова
как эшелоны составные,
но неразрывные,
как бы цельносварные.

Державин свинчивал и составлял
слова
и эти сложные составы
трудиться в громких одах заставлял.
Богатырями стали у заставы,
у всех границ поэзии родной.
Обозревают из-под шлемов местность.

А я люблю их грохот составной,
многоступенчатую
их
ракетность!

ЛИТЕРАТУРНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Молодому поэту казалось, что я был всегда.
Молодому поэту казалось, что мне хорошо.
Между тем, между тем, между тем
он счастливей меня.

Лучше юная зависть, чем старый успех.
Лучше юная неудача во всем,
чем такая законченность, когда закончено все
и не хочется начинать ничего.

Я могу ему дать совет. Я могу позвонить.
Я, конечно, замолвлю словцо.
Он, конечно, не может мне подарить ничего,
кроме гула в стихах.

Может быть, он бездарен, но бездарь его
молода.
Может быть, он завистлив, но зависть его
молода.
Может быть, он несчастен. Его молодая беда
лучше десятилетий удач и труда.

Потому что начало счастливей конца. Потому
что мне нечего, нечего выдать ему,
кроме старой сентенции, легкой, как дым,
что не мне хорошо. Хорошо — молодым.

ПРЕТЕНЗИЯ К АНТОКОЛЬСКОМУ

Ощущая последнюю горечь,
выкликаю сквозь сдавленный стон:
виноват только Павел Григорьич!
В высоту обронил меня он.

Если б он меня сразу отвадил,
отпугнул бы меня, наорал,
я б сейчас не долбил, словно дятел,
рифму к рифме бы не подбирал.

С безответственной добротою
и злодейским желаньем помочь,
оделил он меня высотою,
ледяною и черной, как ночь.

Контрамарку на место свободное
выдал мне в переполненный зал
и с какой-то веселой свободою:
— Действуй, если сумеешь! — сказал.

Я на той же ошибке настаиваю
и свой опыт, горчайший, утаиваю.
Говорю: — Тот, кто может писать,—
я того не желаю спасать!

НЕПРИВЫЧКА К СОЗЕРЦАНИЮ

Не умел созерцать. Все умел: и глядеть,
и заглядывать,
видеть, даже предвидеть, глазами мерцать,
всматриваться, осматриваться,
взором охватывать
горизонт.
Все умел,
Не умел созерцать.

Не хватало спокойствия, сосредоточенности.
Не хватало умения сжаться и замереть.
Не хватало какой-то особой отточенности,
заостренности способа
видеть, глядеть и смотреть.

И у тихого моря с его синевой миротворною,
и у бурного моря с его стоэтажной волной
остальная действительность
с дотошностью вздорною
не бросала меня,
оставалась со мной.

А леса, и поля, и картины импрессионистов,
и снега, застилавшие их своей белой тоской,
позабыть не заставили,
как, обречен и неистов,
вал морской
разбивался о берег морской.

Я давал себе срок, обрекая на повиновение
непоспешному времени,
но не хватало меня.

Я давал себе век, но выдерживал только мгновение.
Я давал себе год,
не выдерживал даже и дня.

И в итоге итогов
мне даже понравилась
населявшая с древности эти места
суета,
что со мною боролась и справилась,
одолевшая, победившая меня суета.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИРИКИ

Лирика — отсебятина.
Хочется основательно
все рассказать о себе
и о своей судьбе.

Лирика — околесица:
так шумна и пестра.
Кроме того, она лестница
в душу твою со двора.

Лирика — суматоха.
Лирика — дребедень.
Кроме того, она вздоха
воздуха
  верная тень!

С берега до берега
ночью пробег по мостам!
Лирика эмпирика
учит общим местам.

Учит к словам забытым
вдруг проявлять интерес.
Лирика вся — за бытом,
словно за городом лес.

Вдруг раскрываются двери
из теплыни в ледынь.
Лирика вся: не верю,
что не чета молодым.

ПЛАНИРУЯ, НЕ ЗАРЫВАЙСЯ!

Планированье подкачало.
Все думал: самое начало.
Все думал: разбегусь, взлечу
и долечу, куда хочу,
и сделаю любое дело!

И с двух концов палил свечу.
И с двух концов свеча горела.

Свеча горела с двух концов
и кончилась в конце концов,
и свет погас,
и воск истаял.
Задача, что себе он ставил,
до сей поры не решена.
Беда его или вина,
но нет! Не решена она.

Планируя, не зарывайся
и от земли не отрывайся.
Скрывайся в облачной дали
и выбивайся в короли,
не отрываясь от земли.

ОТ СЕРДЦА

Надеюсь, что сердце у вас покуда еще не свело
от стенокардии или ностальгии.
Какие бывают причины другие,
припомнить сейчас тяжело.

Надеюсь, тяжелое это крыло —
томленье сердечное — вас не прикрыло,
а что-нибудь, если и было, прошло, отошло,
наладилось, сделалось и отпустило.

Есть способ старинный. Как только предсердье
сведет
и оба желудочка схватит —
идите за Пушкиным. Он от беды уведет.
Стихи вспоминайте.
Они вас настроят, наладят.

Но если не даст облегчения даже «Анчар» —
спасайтесь, как можете.
Поэзия к вам охладела.
В пределе земном вы достигли предела,
и кончит вас рок,
хоть доселе он вас не кончал.

ПРОЩЕНИЕ

Грехи прощают за стихи.
Грехи большие —
за стихи большие.
Прощают даже смертные грехи,
когда стихи пишу от всей души я.

А ежели при жизни не простят,
потом забвение с меня скостят.

Пусть даже лихо деют —
вспоминают
пускай добром,
ни чем-нибудь.
Прошу того, кто ведает и знает:
ударь, но не забудь.
Убей, но не забудь.

* * *

Закапываю горечь
на глубину души.
Для этого, наверное,
все средства хороши.

Наверное, все способы
годятся для того,
чтобы забыть обиду,
не помнить ничего,

чтобы не помнить факты,
не повторять слова.
Чтоб не душа болела,
болела голова.

ИНФОРМАЦИЯ И ИНТУИЦИЯ

В загашнике души
всегда найдется
лихая вера
в то, что обойдется,
что выручат,
помогут и спасут,
что Страшный суд
не очень страшный суд.

Вся информация
против того,
но интуиция — вот дура — почему-то
подсказывает: «Ничего!
Устроится в последнюю минуту».

И как подумаешь,
то, несмотря
на логику,
на всю ее амбицию,
нас информация пугала зря
и верно ободряла интуиция,
и все устроилось
в последний час,
наладилось, образовалось,
с какими цифрами подчас
к нам информация
усердно
ни еовалась.

НА ПОЛЯХ ПОСЛОВИЦЫ

Перемелется — будет мука.
Но покуда — не перемалывается,
а марается и перемарывается.
Что-то вроде черновика.

Все то мерится,
то перемеривается,
с каждым годом все тяжелей,
но потом, когда перемелется,
будет снега белей.

ВСЕ ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЖИЗНИ

О счастливые и невозвратимые
все четыре времени нашей жизни!
Вы не только счастливы —
вы невозвратимы.
Вы — не лето с осенью, зимою, весною:
нет вам даже однократного повторенья.
Вы необратимы, как международная разрядка.
Вы приходите, проходите, не приходите снова.
Всё. Точка. В просторечии — крышка.

Детство —
иные выделяют отрочество,
но это только продленное детство,
детство, пора узнавания,
в твоих классах
нет второгодников —
не спеши. Ни к чему торопиться.

Юность — иные выделяют молодость,
но это одно и то же,
юность,
пора кулачной драки с жизнью,—
твои пораженья блаженны
так же, как твои победы.
Этих ран, этих триумфов
никогда не будет больше.
Все твои слезы — слезы счастья,
но это последние счастливые слезы.
Не спеши. Ни к чему торопиться.

Зрелость — пора, когда не плачут:
времени нету.
Время остается только для свершений.

Зрелость,
пора свершений,
у твоей империи оптимальные границы.
Позднее придется только сокращаться.
От добра добра не ищут,
а если ищут — не находят,
а если находят — оно проходит
еще быстрее, чем проходит зрелость.
Не спеши, зрелость! Ни к чему торопиться.

Старость,
счастливейшее время жизни!
Острота воспоминаний
о детстве, юности, зрелости
острее боли старческих болезней.
Болезненно острое счастье воспоминаний —
единственно возможная обратимость
необратимых, как международная разрядка,
трех предварительных времен жизни.
Не спеши. Ни к чему торопиться.
Не спеши. Почему — сама знаешь.

СПРЯМЛЕНИЕ КРИВИЗНЫ

Как ты крыльями ни маши —
не взлетишь над самим собой,
так что лучше людей не смеши
несуразной своей судьбой.

Ты уж лучше гни свою линию,
понемногу спрямляй кривизну
и посматривай изредка в синюю,
во небесную
голубизну.

ДНЕМ И НОЧЬЮ

Днем рассуждаешь.
Ночью мыслишь
и годы, а не деньги, числишь
и меришь не на свой аршин,
а на величие вершин.

Днем загоняем толки в догмы,
а ночью
поважней
итог мы
подводим,
пострашней
итог.
Он прост,
необратим,
жесток.

САМАЯ ВОЕННАЯ ПТИЦА

Горожане,
только воробьев
знавшие
из всей орнитологии,
слышали внезапно соловьев
трели,
то крутые, то отлогие.

Потому — война была.
Дрожанье
песни,
пере-пере-перелив
слышали внезапно горожане,
полземли под щели перерыв.

И военной птицей стал не сокол
и не черный ворон,
не орел —
соловей,
который трели цокал
и колена вел.

Вел,
и слушали его живые,
и к погибшим
залетал во сны.
Заглушив оркестры духовые,
стал он
главной музыкой
войны.

КОЛЯ ГЛАЗКОВ

Это Коля Глазков. Это Коля —
шумный, как перемена в школе,
тихий, как контрольная в классе,
к детской
принадлежащий
расе.

Это Коля, брошенный нами
в час поспешнейшего отъезда
из страны, над которой знамя
развевается
нашего детства.

Детство, отрочество, юность —
всю трилогию Льва Толстого,
что ни вспомню, куда ни сунусь,
вижу Колю снова и снова.

Отвезли от него эшелоны,
роты маршевые
отмаршировали.
Все мы — перевалили словно.
Он остался на перевале.

Он состарился, обородател,
свой тук-тук долдонит, как дятел,
только слышат его едва ли.
Он остался на перевале.

Кто спустился к большим успехам,
а кого — поминай как звали!
Только он никуда не съехал.
Он остался на перевале.

Он остался на перевале.
Обогнали? Нет, обогнули.
Сколько мы у него воровали,
а всего мы не утянули.

Скинемся, товарищи, что ли?
Каждый пусть по камешку выдаст!
И поставим памятник Коле.
Пусть его при жизни увидит.

* * *

Не сказануть — сказать хотелось.
Но жизнь крутилась и вертелась —
не обойти, не обогнуть.
Пришлось, выходит, сказануть.

Попал в железное кольцо.
Какой пассаж! Какая жалость!
И вот не слово, а словцо,
не слово, а словцо
                    сказалось.

ПРОСТАЯ РАБОТА

Выталкивает изо сна,
но не бессонницей — строкою.
Когда послышится она,
она не даст тебе покою.
Она сперва гудит вдали,
потом она вблизи грохочет.
Она с тобою спать не хочет,
но хочет петь.
— Пойдем?
— Пошли.
А я хватаю со стола
листок, листочек припасенный
и радостно, словно спасенный,
записываю.
Ну, пошла
строка,
одна, потом другая.
В окно влезает.
Входит в дверь.
Я даже ей не помогаю.
Она сама пошла теперь.

ВЕЧЕРОМ

Этому надо учиться
целую жизнь напролет,
так же, как учатся рыбы,
тихие рыбы — об лед,

так же, как учатся головы —
при прошибании стен.
Впрочем, в комедии этой
многое множество сцен.

Кажется, что-то я понял:
долго не понимал —
правила жизни запомнил:
долго не запоминал,

вызнал важнейшие темы,
цифры надежные есть.
Впрочем, вечерние тени
мне их мешают прочесть.

ЖАЛЕЮ ВРЕМЯ, ЧТО ОНО ПРОШЛО

С утра мне было ясно и светло.
Мой день был ясен, и мой вечер светел.
Жалею время, что оно прошло
и не заметило того, что я заметил.

Оно дарило мне за днями дни,
само же всякий отдых отвергало,
в курантах всех вертело шестерни,
колеса всех часов передвигало.

Мне — музыки стремительный зигзаг.
Ему — часов томительный тик-так.
Я — по прямой. Оно же — ходом белки
по кругу вечному вращает стрелки.

А то, что я конечен, а оно
дождется прекращенья мирозданья —
об этом договорено давно.
Я это принимаю без страданья.

Угроза,
в ходе слышная
часов,
пружин их ржавых
хриплое скрипенье,
не распугает птиц моих лесов
и не прервет их радостное пенье.

БОЯЗНЬ СТРАХА

До износу — как сам я рубахи,
до износу — как сам я штаны,
износили меня мои страхи,
те, что смолоду были страшны.

Но чего бы я ни боялся,
как бы я ни боялся всего,
я гораздо больше боялся,
чтобы не узнали того.

Нет, не впал я в эту ошибку
и повел я себя умней,
и завел я себе улыбку,
словно сложенную из камней.

Я завел себе ровный голос
и усвоил спокойный взор
и от этого ни на волос
я не отступил до сих пор.

Как бы до смерти мне не сорваться,
до конца бы себя соблюсть
и не выдать,
                    как я бояться,
до чего же
                    бояться
                              боюсь!

БОЛЬНИЦА

Я проснулся от сильной боли
и почувствовал: я живу!
Мне еще ходить через поле
и покачиваться на плаву.

Я до самой смерти бессмертен!
До конца бесконечен я,
и мой жребий еще не измерен,
как там ни искалечен я.

Ты боли́, моя боль, и мучай,
осыпай в мою рану соль.
Это тот особенный случай,
когда может спасти только боль.

Всех скорбей конец знаменуя,
все печали мои утоли!
Смерть и гибель с тобой обману я.
Ты боли́, моя боль, боли!

И болела! И ныла после.
Тяжело! А потом — налегке.
И лежали мы боли возле,
муки около. Невдалеке.

И, привыкшие к привыканью,
вовлеклись мы вновь в бытие,
и бинты нашу кровь промокали
и задерживали ее.

Мы кроссворды решать приучились!
А потом научились ходьбе,
и весенние дни лучились,
нам суля перемену в судьбе.

СМЕРТЬ ВРАГА

Смерть врага означает, во-первых,
что он вышел совсем из игры,
так жестоко плясавший на нервах
и мои потрясавший миры.

Во-вторых же,
и в-третьих,
и в главных,
для меня значит гибель его,
что, опять преуспев в своих планах,
смерть убила еще одного.

Он был враг не земли и не века,
а какой-то повадки моей.
На еще одного человека
в человечестве
меньше людей.

НА ВСЮ ЖИЗНЬ

И без наглости,
и без робости,
и не мудро,
и не хитро,
как подсаживаются в автобусе,
как подсаживаются в метро,
он подсел в эту жизнь —
на всю жизнь,
и отсаживаться не захотелось.
Вместе им
и пилось и елось.
Полностью сбылось
все, что пелось
в их сердцах,
когда, такт и честь
соблюдая
в мельчайшей подробности,
он без наглости
и без робости
ей сказал:
— Позвольте присесть!

УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ

Уверенные в себе
по краю ходят, по кромке
и верят, что в их судьбе
вовек не будет поломки.

А бедные неуверенные,
не верящие в себя,
глядят на них, как потерянные,
и шепчут: «Не судьба!»

Зарядка, холодный душ,
пробежка по зимней роще
способствует силе душ,
смотрящих на вещи проще.

Рефлексами же заеденные
не знают счета минут:
в часы послеобеденные
себя на диване клянут.

Судьба, она — домоседка.
К ней надо идти самому.
Судьба, она — самоделка,
и делать ее — самому.

Судьба — только для желающих.
Ее разглядишь — сквозь дым
твоих кораблей пылающих,
сожженных тобой самим.

НЕ ЛЕЗЬ БЕЗ ОЧЕРЕДИ!

Не лезь без очереди. Очередь — образ
миропорядка.
Бесспорная доблесть,
презрев даже почесть,
отбросив лесть,
без очереди — не лезть.

Не лезь без очереди.
Хотя бы ради
хлебной очереди в Ленинграде,
где молча падали в тихий снег,
но уважали — себя и всех.

И атомы в малой
и звезды в большой
вселенной
очередность — блюдут.
Так что же ты лезешь!
С бессмертной душой
дождутся все,
кто честно ждут.

СТАРИКОВСКИЕ КОСТЮМЫ

Старики не должны шить костюмы на вырост,
но учесть стариковскую слабость и хворость
и особо опасные морось и сырость
должен старческий возраст.

Износилось, а кроме того, прохудилось,
поистратилось, кроме того, издержалось
то, что бурей носилось,
смеялось,
гордилось.
Что осталось?
Остались лишь совесть и жалость.

Вот какие
соображенья, надежды,
подкрепленные
краткими стариковскими снами,
в голову старикам
при подборе одежды
по покрою и цвету
придут временами.

СТАРЫЕ ДАЧНИКИ

Старые, и хворые, и сирые
живы жизнью все-таки живой,
старость, хворость, сирость компенсируя
летом, проведенным под Москвой.

Вот еще одна зима прошла.
Вот еще одна весна настала.
Та кривая, что всегда везла,
вывезла опять, как ни устала.

Тощие, согбенные и бледные,
до травы доползшие едва,
издают приветствия победные,
говорят могущие слова.

Вот они здороваются за руки,
длительный устраивают тряс,
в Алексеевке и в Елизаровке
встретившись уже в который раз.

Вот они глядят хозяйским глазом:
солнышко —
где быть оно должно,
ельничек, березничек —
все рядом.
Поспевают ягоды давно.

Раз судьба
их пощадила снова,
стало быть, не миновать судьбы
вам,
пока еще в лесу сосновом
укрывающиеся
грибы.

ТРИ АЛЕКСЕЕВСКИХ КОЗЫ

Старик и три его козы,
пройдя искусы зимних тягот,
за год состаренные на год,
живут! По ним — не лить слезы.

Старик мотает головой,
но все-таки еще живой.
Козел бородкою мотает,
но все ж не в небесах витает:
живая жизнь его питает
зеленой, сочною травой.

И я, который их нашел
живыми и в хорошем стиле,
нелегкий этот год прошел,
как будто бы меня простили
и вновь за пиршественный стол,
пусть где-то с краю, посадили.

ВОЗДУХ ПОЛЕТА

Тот воздух, что способствовал парению,
сопротивлялся ускорению.
Он меру знал. Свою. Что было сверху —
он властно отвергал
и нам свою устраивал поверку,
и отрицал, и помогал.

Но я дышал тем воздухом. Другой,
наверно, мне пришелся б не по легким,
а что полет не оказался легким,
я знал заранее,
не ожидал покой.

Тот воздух
то сгущался в ураган,
вдыхался трудными глотками,
то прикасался ласково к рукам
своими легкими руками.

Вдохнув его
и выдохнув его
давным-давно когда-то на рассвете,
я не боялся ничего.
Я не боялся ничего на свете!

ЦЕПНАЯ ЛАСТОЧКА

Я слышу звон и точно знаю, где он,
и пусть меня романтик извинит:
не колокол, не ангел и не демон,
цепная ласточка
железами звенит.

Цепная ласточка, а цепь стальная
из мелких звеньев тонких, но стальных,
и то, что не порвать их — точно знаю.
Я точно знаю —
не сорваться с них.

А синева, а вся голубизна!
О, как сиятельна ее темница!
Но у сияния свои границы:
летишь, крылом упрешься
и — стена.

Цепной, но ласточке, нет, все-таки цепной,
хоть трижды ласточке, хоть трижды птице,
ей до смерти приходится ютиться
здесь,
в сфере притяжения земной.

ПОЗДНИМ УТРОМ

Белый день всю ночную тьму
разбеляет, разъясняет.
Совершенно понятно ему
то, что ночь затемняет.

Очень быстро идут на дно
ощущенья сознанья —
все, что ночью вознесено:
угрызенья, воспоминанья.

И смывает горячий душ
страх — с сердец
и слабость — с душ.

И холодный утренний ветер
выдувает печаль легко.

При холодном утреннем свете
видно, что до конца — далеко.

ОСЕНЬ В РАЗГАРЕ

Облетела листва. Сразу стало светлей
между голых, нагих, обнаженных ветвей.

Пурпур с золотом — вся мишура облетела.
Обнажается дерева черное тело.

Ничего, кроме пустоты, между мной
и осеннею, синею голубизной.

Между солнцем и мной, между тучей и мной,
между мной и небесною бездной сквозной.

Только черные голые сучья
тянут черные лапы паучьи.

И, блистая на солнце, летит на меня
лава конная синего белого дня.

ПОГРУЖЕНИЕ

Нахлобученная, как пилотка,
на сократовский лоб волны,
прямо вниз уходит подлодка —
в зону сумрака и глубины.

Как легка ее темная тяжесть,
когда с грацией лепестков,
то играя, а то будто тешась,
утопляет она
перископ.

Хороша ее грузная легкость.
Ей что вниз, что вверх — все равно.
Хороша ее грустная ловкость —
ускользать от небес на дно.

НАЧАЛО ОСЕНИ

Тир закрыт третий день.
Верный признак,
что на склоне купальный сезон.
Но в торговых стеклянных призмах —
солнца звон.

Светом, лаковым солнцем залиты
все торговые точки подряд:
греть, светить не устало за лето
и воспитывать виноград.

Дни еще горячи, горячи.
Ночи?
Ночи прозябли до дрожи,
и луны ледяные лучи
с каждой ночью все строже.

И медлительно, не торопясь,
как большое людское горе,
остывает Черное море,
и теряется с летом связь
у отары, жемчужного цвета,
догрызающей корни травы,
и у облачной синевы,
и у рощи,
что ветром раздета,
разоблачена донага,
рощи,
листьями не светящейся,
и у черной волны
в берега,
тоже черные,
колотящейся.

ОСЕННИЙ ОТСТРЕЛ СОБАК

Каждый заработок благороден.
Каждый приработок в дело годен.
Все ремесла равны под луной.
Все профессии — кроме одной.

Среди тысяч в поселке живущих,
среди пьющих, среди непьющих,
не берущих в рот ничего —
не находится ни одного.

Председателю поссовета
очень стыдно приказывать это,
но вдали, километрах в шести,
одного удается найти.

Вот он: всю систему пропорций
я в подробностях рассмотрел!
Негодяй, бездельник, пропойца,
но согласен вести отстрел.

А курортные псы веселые,
вежливые бесхозные псы,—
от сезонного жира тяжелые
у береговой полосы.

Это ласковые побирушки.
Доля их весьма велика —
хоть по капле с каждой кружки,
хоть по косточке с шашлыка.

Кончилась страда поселковая.
И пельменная, и пирожковая,
и кафе «Весенние сны»
заколочены до весны.

У собак не бывает историков.
В бывшем баре
у бывших столиков
скачут псы
в свой последний день.

Их уже накрывает тень
человека с тульской винтовкой,
и с мешком,
и с бутылкой в мешке,
и с улыбкой — такой жестокой
и с походкой такой — налегке.

ОЧЕНЬ МНОГО САПОЖНИКОВ

Много сапожников было в родне,
дядями приходившихся мне —
ближними дядями, дальними дедами.
Очень гордились моими победами,
словно своими и даже вдвойне,
и угощали, бывало, обедами.

Не было в мире серьезней людей,
чем эта знать деревянных гвоздей,
шила и дратвы и кожи шевро.
Из-под очков, что через переносицу
жизнь напролет безустанно проносятся,
мудро глядели они и остро.

Сжав в своих мощных ладонях ножи,
словно грабители на грабежи,
шли они — славное войско — на кожу.
Гнули огромные спины весь день.
Их, что отбросили долгую тень
на мою жизнь, забывать мне негоже.

Среднепоместные, мелкопоместные
были писатели наши известные.
Малоизвестным писателем — мной,
шумно справляя свои вечерухи,
новости обсуждая и слухи,
горд был прославленный цех обувной.

ЖЕНСКАЯ ПАЛАТА В ХИРУРГИИ

Женская палата в хирургии.
Вместе с мамой многие другие.
Восемь коек, умывальник, стол.
Я с кульком, с гостинцами, пришел.

Надо так усесться с мамой рядом,
чтобы не обеспокоить взглядом
женщин. Им неладно без меня,
операций неотложных ждущим,
блекнущим день ото дня,
но стыдливость женскую — блюдущим.

Впрочем, за два месяца привыкли.
Попривыкли, говорю, с тех пор!
Я вхожу, а женщины не стихли.
Продолжают разговор.

Женский разговор похож на дождь
обложной. Его не переждешь.
Поприслушаюсь и посижу,
а потом — без церемоний — встану.
Пошучу, почтительно и рьяно,
тонкие журналы покажу.

— Шутки — и болезнь боится! —
Утверждает издавна больница.

Я сижу и подаю репризы.
Боли, и печали, и капризы,
что печали? —
даже грусть-тоску
с женским смехом я перетолку.

Женский смех звончее, чем у нас,
и серебряней и бескорыстней.
Скоро и обед, и тихий час,
а покуда, дождик светлый,
брызни!

Мать, свернувшись на боку
трогательным сухоньким калачиком,
слушает, как я гоню тоску,
и довольна мною как рассказчиком.

Столик на колесиках привозит
паром исходящий суп,
и сестра заходит, честью просит,
говорит: «Кончайте клуб!»

Отдаю гостинцы из кулька.
Получаю новые заданья.
Матери шепчу: «Пока».
Говорю палате: «До свиданья».

НОВОЕ ПАЛЬТО ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Мне приснились родители в новых пальто,
в тех, что я им купить не успел,
и был руган за то,
и осмеян за то,
и прощен
и все это терпел.

Был доволен, серьезен и важен отец —
всё пылинки с себя обдувал,
потому что построил себе наконец,
что при жизни бюджет не давал.

Охорашивалась, как молоденькая,
все поглядывала в зеркала
добродушная, милая мама моя,
красовалась, как только могла.

Покупавший собственноручно ратин,
самый лучший в Москве матерьял,
словно авторы средневековых картин,
где-то сбоку
я тоже стоял.

Я заплакал во сне,
засмеялся во сне
и проснулся
и снова прилег,
чтобы все это снова привиделось мне
и родителей видеть я смог.

ОТЦЫ И СЫНОВЬЯ

Сыновья стояли на земле,
но земля стояла на отцах,
на их углях, тлеющих в золе,
на их верных стареньких сердцах.

Унаследовали сыновья,
между прочих
в том числе
и я,
выработанные и семьей и школою
руки хваткие
и ноги скорые,
быструю реакцию на жизнь
и еще слова:
«Даешь! Держись!»

Как держались мы
и как давали,
выдержали как в конце концов,
выдержит сравнение едва ли
кто-нибудь,
кроме отцов,—
тех, кто поднимал нас, отрывая
все, что можно,
от самих себя,
тех, кто понимал нас,
понимая
вместе с нами
и самих себя.

ТРЕТЬЯ ПАМЯТЬ

Сначала она означала
обычные воспоминания,—
как в кинозале, мчала
кадры, кадры, кадры.

Но кадры сместились, сгустились,
сплотились, перевоплотились
в густые и горькие чувства
и в легкие, светлые мысли.

Сейчас, по третьему разу,
память — половодье,
но в центре водоворота
моя небольшая щепка,

ухваченная цепко
жестокосердой волною.
Делает все, что хочет,
третья память со мною.

ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР

Еще не вечер.
Конечно, тени
людей, животных и растений
уже заметно удлиняются,
и звезды бледно теплят свечи,
но вечер только начинается:
еще не вечер.

Еще два-три часа, не менее,
покуда звезды ярче вспыхнут,
покуда в полном онемении
кусты
кошачьи спины
выгнут,
и ночи чудо-мастерская
включит беззвучные моторы,
и тишина пойдет такая,
что можно звезд услышать споры.

Покуда же у дня
не вечер,
и у меня
еще не вечер.

* * *

Время человечнее пространства,
в нем не затеряешься.
Даже самый бедный
может про него сказать:
мое!
Современники благожелательней
однодеревенцев.
Где-нибудь в какой-нибудь
библиотеке —
обязательные экземпляры.
Среди них обязательно хранится
экземпляр моих стихотворений.

СТАРЫЙ СПУТНИК

Словно старый спутник, забытый,
отсигналивший все сигналы,
все же числюсь я за орбитой,
не уйду, пока не согнали.

Словно сторож возле снесенного
монумента «Свободный труд»,
я с поста своего полусонного
не уйду, пока не попрут.

По другому закону движутся
времена. Я — старый закон.
Словно с ятью, фитою, ижицей,
новый век со мной не знаком.

Я из додесятичной системы,
из досолнечной, довременной.
Из системы, забытой теми,
кто смеется сейчас надо мной.

ТЕКСТ И МУЗЫКА

Таланту не завидовал. Уму —
тем более. Ни в чем и никому:
не более меня вы все успели.
Завидовал, что ваши песни пели.
Бывалоча, любимая родня,
застольничая, выспросит меня,
и отповедь даю ей тотчас с жаром,
что связан с более серьезным жанром.
А между тем серьезней жанра нет.
И кто там композитор, кто поэт —
не важно. Важно, чтобы хором дружным
ревели песню ураганом вьюжным.
А кто поэт и композитор кто —
не столь существенно. Они зато,
в сторонке стоя — вылезать не надо,—
безмолвно внемлют песни водопаду,
покуда текст и музыку поют.

САМЫЙ СТАРЫЙ ДОЛГ

Самый старый долг плачу:
с ложки мать кормлю в больнице.
Что сегодня ей приснится?
Что со стула я лечу?

Я лечу, лечу со стула.
Я лечу,
лечу,
лечу...
— Ты бы, мамочка, соснула.—
Отвечает: — Не хочу.

Что там ныне ни приснись,
вся исписана страница
этой жизни.
Сверху — вниз.
С ложки
мать кормлю в больнице.

Но какой ни выйдет сон —
снится маме утомленной:
это он,
это он,
с ложки
некогда
кормленный.

РАЗНЫЕ ФОРМУЛЫ СЧАСТЬЯ

В том ли счастье?
А в чем оно, счастье,
оборачивавшееся отчасти
зауряднейшим пирогом,
если вовсе не в том, а в другом?

Что такое это другое?
Как его трактовать мы должны?
Образ дачного, что ли, покоя?
День Победы после войны?

Или та черта, что подводят
под десятилетним трудом?
Или слезы, с которыми входят
после странствий в родимый дом?

Или новой техники чара?
Щедр на это двадцатый век.
Или просто строка из «Анчара» —
«человека человек»?

ИВАНИХИ

Как только стали пенсию давать,
откуда-то взялась в России старость.
А я-то думал, больше не осталось.
Осталось.
В полусумраке кровать
двуспальная.
По полувековой
привычке
спит всегда старуха справа.
А слева спал
по мужескому праву
ее Иван,
покуда был живой.

Был мор на всех Иванов на Руси,
что с девятьсот шестого
были года,
и сколько там у бога ни проси,
не выпросила своему Ивану льготу.

Был мор на год шестой,
на год седьмой,
на год восьмой был мор,
на год девятый.
Да, тридцать возрастов войне проклятой
понадобились.
Лично ей самой.

С календарей обдергивая дни,
дивясь, куда их годы запропали,
поэтому старухи спят одни,
как молодыми вдовушками спали.

ПОХВАЛА СРЕДНИМ ПИСАТЕЛЯМ

Средние писатели
видят то, что видят,
пишут то, что знают,
а гении,
вроде Толстого, Тургенева,
не говоря уже про Щедрина и Гоголя,
особенно Достоевского,
не списывают — им не с кого,
не фотографируют — не с кого,
а просто выдумывают, сочиняют,
не воссоздают,
а создают.

В результате
существует мир как мир,
точно и добросовестно
описанный средними писателями,
и, кроме того,
мир Гоголя,
созданный Гоголем,
мир Достоевского,
вымышленный Достоевским,
и это — миры,
плавающие в эфире,
существующие! —
вызывающие приливы и отливы
в душах людей
обычного мира.

НЕОТВРАТИМОСТЬ МУЗЫКИ

Музыки бесполезные звуки,
лишние звуки,
неприменяемые тоны,
болью не вызванные стоны.

Не обоснована ведь ни бытом,
ни — даже страшно сказать — бытием
музыка!
Разве чем-то забытым,
чем-то, чего мы не сознаем.

Все-таки встаем и поем.
Все-таки идем и мурлычем.
Вилкой в розетку упрямо тычем,
чтоб разузнать о чем-то своем.

ПОЛВЕКА СПУСТЯ

Пишут книжки, мажут картинки!
Очень много мазилок, писак.
Очень много серой скотинки
В Аполлоновых корпусах.

В Аполлоновых батальонах
во главе угла, впереди,
все в вельветовых панталонах,
банты черные на груди.

А какой-нибудь — сбоку, сзади —
вдруг возьмет и перечеркнет
этот
в строе своем и ладе
столь устроенный, слаженный гнет.

И полвека спустя — читается!
Изучает его весь свет!
Остальное же все — не считается.
Банты все!
И весь вельвет.

ОЧЕРЕДЬ ЗА КНИГОЙ

Мы в очереди.
— Что дают? —
Ответствуем, что мы за книгой.
— Разочарован? Дальше двигай! —
Но некоторые — встают.
Встают. Стоять не устают.
Стоять всю жизнь, до смерти
рады
не хлеба ради — слова ради,
что им по слогу выдают.

Отчетливее наций, рас,
ясней, чем лысины, седины,
знак на лице,
что ты хоть раз
стоял за книгой.
Хоть единый!

Кто облучен ее лучом,
ее сияньем коронован,
тому иное нипочем:
вознагражден он томом новым.

Надеюсь, что не раз, не два
возобновится эта давка
у застекленного прилавка.
— А что там продают?
— Слова.

ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ЧЕТВЕРТИ ЧАСА

Последние три четверти часа
перед Москвой и домом:
Москвы-реки песчаная коса,
высокие, густые небеса
и новенькая лесополоса,
и вдруг в окно вагонное
                                        роса
пахнёт родимым чем-то и знакомым.
Последние три четверти пройдут.
Ты сходишь на асфальт окраин,
дорожным сквозняком еще продут
и перегромом рельсовым ограян.

Еще продут дорожным сквозняком!
Но снова ты
навечно в этом городе,
и вся Москва подкатывает,
ком
Москвы
подкатывает к горлу.

ПЕРРОН

Она стояла и рукой махала,
хоть поезд отблеснул во тьму давно
и скрылось в отдалении окно
с небрежно-ласковым лицом нахала.

Она махала вовсе не ему —
конец был полный, с подписью,
с печатью,—
а кратенькому счастью своему,
коротенькому счастью.
Ее
почти великая душа
из этого
почти нуля
достала
крупицы драгоценного металла,
о коих он не ведал, мельтеша.
Ловча, о них он не подозревал
и потому не слишком горевал,
что против всех своих житейских правил
хоть что-нибудь
другой душе оставил...

И сдунула она снежок с платка,
снежинки,
до единой,
ловко сдула:
ее повадка, показалось мне, легка.
Ее походка,
показалось мне,
бездумна.

ПРЕОДОЛЕНИЕ ГОЛОВНОЙ БОЛИ

У меня болела голова,
что и продолжалось года два,
но без перерывов, передышек,
ставши главной формой бытия.
О причинах, это породивших,
долго толковать не стану я.

Вкратце: был я ранен и контужен,
и четыре года — на войне.
Был в болотах навсегда простужен.
На всю жизнь — тогда казалось мне.

Стал я второй группы инвалид.
Голова моя болит, болит.

Я не покидаю свой диван,
а читаю я на нем — роман.

Дочитаю до конца — забуду.
К эпилогу — точно забывал,
кто кого любил и убивал.
И читать сначала снова буду.

Выслуженной на войне
пенсии хватало мне
длить унылое существованье
и надежду слабую питать,
робостное упованье,
что удастся мне с дивана встать.

В двадцать семь и в двадцать восемь лет
подлинной причины еще нет,
чтоб отчаяние одолело.

Слушал я разумные слова,
но болела голова
день-деньской, за годом год болела.

Вкус мною любимого борща,
харьковского, с мясом и сметаной,
тот, что, и томясь и трепеща,
вспоминал на фронте неустанно,—
даже этот вкус не обжигал
уст моих, души не тешил боле
и ничуть не помогал:
головной не избывал я боли.

Если я свою войну
вспоминать начну,
все ее детали и подробности
реставрировать по дням бы смог!

Время боли, вялости и робости
сбилось, слиплось, скомкалось в комок.

Как я выбрался из этой клетки?
Нервные восстановились клетки?
Время попросту прошло?
Как я одолел сплошное зло?

Выручила, как выручит, надеюсь,
и сейчас, лирическая дерзость.
Стал я рифму к рифме подбирать
и при этом силу набирать.

Это все давалось мне непросто.
Веры, и надежды, и любви
не было. Лишь тихое упорство
и волнение в крови.

Как ни мучит головная боль —
блекну я, и вяну я, и никну,—
подберу с утра пораньше рифму,
для начала, скажем, «кровь — любовь».

Вспомню, что красна и горяча
кровь, любовь же голубее неба.
Чувство радостного гнева
ставит на ноги и без врача.

Земно кланяюсь той, что поставила
на ноги меня, той, что с колен
подняла и крылья мне расправила,
в жизнь преобразила весь мой тлен.

Вновь и вновь кладу земной поклон
той, что душу вновь в меня вложила,
той, что мне единственным окном
изо тьмы на солнышко служила.

Кланяюсь поэзии родной,
пребывавшей в черный день со мной.

БОЛЬШИЕ МОНОЛОГИ

В беде, в переполохе
и в суете сует
большие монологи
порой дают совет.

Конечно, я не помню
их знаменитых слов,
и, душу переполня,
ушли из берегов

граненые, как призмы,
свободные, как вздох,
густые афоризмы,
сентенции эпох.

Но лишь глаза открою,
взирают на меня
шекспировские брови
над безднами огня.

ЧЕРЕЗ СТЕКЛО

У больничного окна
с узелком стоит жена.
За окном в своей палате
я стою в худом халате.

Преодолевая слабость,
я запахиваю грудь.
Выдержкой своею славясь,
говорю, что как-нибудь.

Говорю, что мне не плохо,
а скорее хорошо:
хирургического блока
не раздавит колесо.

А жена моя, больная,
в тыщу раз больней меня,
говорит: — Я знаю, знаю,
что тебе день ото дня

лучше. И мне тоже лучше.
Все дела на лад идут.—
Ветром день насквозь продут.
Листья опадают в лужи.

Листья падают скорей,
чем положено им падать.
О грядущем злая память,
словно нищий у дверей,
не отходит от дверей.

* * *

В этот вечер, слишком ранний,
только добрых жду вестей —
сокращения желаний,
уменьшения страстей.

Время, в общем, не жестоко:
все поймет и все простит.
Человеку нужно столько,
сколько он в себе вместит.

В слишком ранний вечер этот,
отходя тихонько в тень,
применяю старый метод —
не копить на черный день.

Будет день, и будет пища.
Черный день и — черный хлеб.
Белый день и — хлеб почище,
повкусней и побелей.

В этот слишком ранний вечер
я такой же, как с утра.
Я по-прежнему доверчив,
жду от жизни лишь добра.

И без гнева, и без скуки,
прозревая свет во мгле,
холодеющие руки
грею в тлеющей золе.

БЕСПОВОРОТНО

Необратимо, бесповоротно,
все повороты провороня,
все варианты упустили —
бесповоротно, необратимо.

Теперь иного нету выхода,
чем только вверх,
только вперед.
Теперь единственная выгода,
чтоб все отдать
тем, кто берет.

Не вспоминать и не оглядываться —
идти, не разбирая вех,
переть вперед и вверх
и радоваться,
что все-таки вперед и вверх.

И налегке, навеселе
пройти и легким и веселым
по выбеленным мелом селам
вдоль по зеленой по земле.

БЫТЬ ХОРОШИМ ТОВАРИЩЕМ

Это все отпадает — талант и удача,
величавое выраженье лица.
Остается одна небольшая задача:
быть хорошим товарищем.
До конца.

Производство на пенсию отпустило.
Руководство ошибки охотно простило.
Ни обязанности,
ни привязанности
не имеют былой неотвязности.

Но какими удачами ни отоваришься,
как устроиться ни сумеешь в судьбе,—
то по школе товарищи,
то по фронту товарищи
временами напомнят тебе о себе.

По какому-то праву бессрочному правы,
то ли помощи требуя,
то ли любви,
школьников
выплывают из Леты
оравы
и настойчиво требуют: «Позови!»

Не забудь!
Они требуют,
и не забудешь,
если только хорошим товарищем будешь.

ВСЕ ТРИ ИЗМЕРЕНИЯ СОВЕСТИ

Говорят, что огромные, многотонные самосвалы
потихоньку проскальзывают
навалы,
обвалы,
кладбища
автомобильных частей,
что доказывает наличие чести
вместе с совестью,
также и с памятью вместе,
даже у машин,
даже в век скоростей.

Совесть с честью, конечно, меняются тоже,
но покуда тебя потрясает до дрожи
не своя, не жены,
а чужая беда —
не утратили доблести и геройства
человекоустройство
и мироустройство,
а душа осязаема, как всегда.

А душа вещественна, когда она есть,
и невидима, если ее замарали,
и свои очертанья имеет честь,
и все три измеренья есть у морали.

НЕОКОНЧЕННЫЕ СПОРЫ

Жил я не в глухую пору,
проходил не стороной.
Неоконченные споры
не окончатся со мной.
Шли на протяженье суток
с шутками или без шуток,
с воздеваньем к небу рук,
с истиной, пришедшей вдруг.
Долог или же недолог
век мой, прав или не прав,
дребезг зеркала, осколок
вечность отразил стремглав.
Скоро мне или не скоро
в мир отправиться иной —
неоконченные споры
не окончатся со мной.
Начаты они задолго,
за столетья до меня,
и продлятся очень долго,
много лет после меня.
Не как повод,
не как довод,
тихой нотой в общий хор
в длящийся извечно спор
я введу свой малый опыт.
В океанские просторы
каплею вольюсь одной.
Неоконченные споры
не окончатся со мной.

СОДЕРЖАНИЕ

Слуцкий Б. А.

С49 Избранное. (1944—1977). /Предисл. Константина Симонова.— М.: Худож. лит., 1980.— 366 с.

В книгу входят лучшие из оригинальных стихотворений Бориса Слуцкого, созданные им более чем за тридцатилетний период творчества и печатавшиеся ранее в его сборниках «Память», «Сегодня и вчера», «Работа», «Доброта дня», «Годовая стрелка», «Продленный полдень», «Неоконченные споры» и др.

С $\frac{70402\text{-}154}{028(01)\text{-}80}$ 83-80 4702010200 **Р2**

Борис Абрамович Слуцкий

ИЗБРАННОЕ

Редактор
В. Борисова
Художественный редактор
Ю. Боярский
Технический редактор
О. Ярославцева
Корректоры
Н. Замятина,
В. Широкова

ИБ № 1664

Сдано в набор 20.08.79. Подписано в печать 16.06.80. А 01836. Формат 84×108 1/32. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Обыкновенная». Печать высокая. 19,32 усл. печ. л. 10,953+1 вкл.= =11,004 уч.-изд. л. Тираж 25 000 экз. Изд. № III-е —38. Заказ № 1048. Цена 1 р. 40 к.

Издательство
«Художественная литература»
107882, ГСП, Москва, Б-78,
Ново-Басманная, 19

Тульская типография Союзполиграфпрома
Государственного комитета СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли,
г. Тула, проспект Ленина, 109.

ОСНОВНЫЕ СБОРНИКИ СТИХОТВОРЕНИЙ БОРИСА СЛУЦКОГО

Память. М., «Советский писатель», 1957

Время. М., «Молодая гвардия», 1959

Сегодня и вчера. М., «Молодая гвардия», 1961 (2-е изд. 1963)

Работа. М., «Советский писатель», 1964

Современные истории. М., «Молодая гвардия», 1969

Память. М., «Художественная литература», 1969

Годовая стрелка. М., «Советский писатель», 1971

Доброта дня. М., «Современник», 1973

Продленный полдень. М., «Советский писатель», 1975

Время моих ровесников. М., «Детская литература», 1977

Неоконченные споры. М., «Советский писатель», 1978